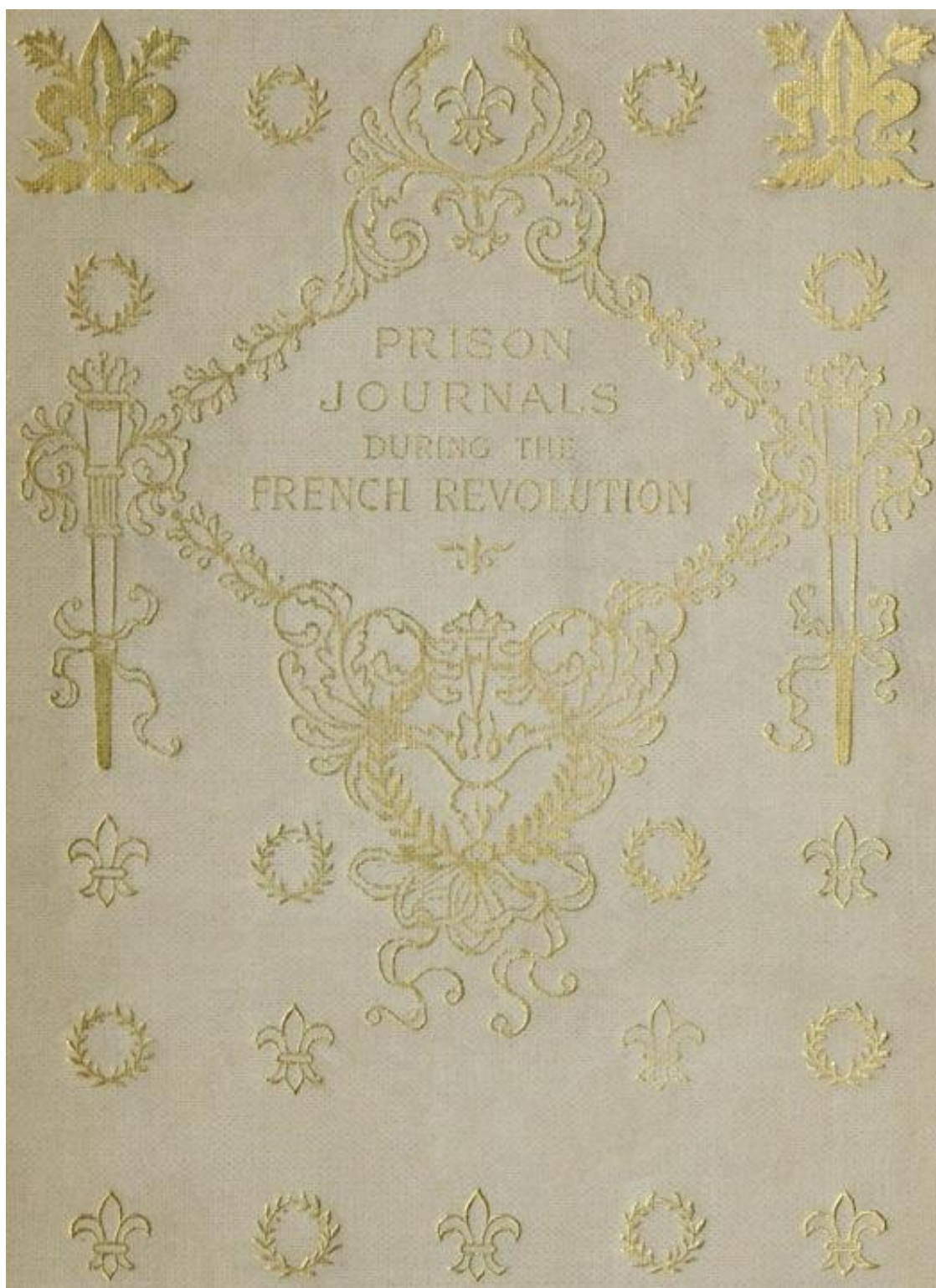


Тюремные дневники времен Французской революции

Герцогиня Луиза Генриетта Шарлотта Филиппина де Дюрфор Дюрас



Электронная книга проекта "Гутенберг", содержащая тюремные дневники времен Французской революции

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Тюремные дневники времен Французской революции

Автор: герцогиня Луиза Генриетта Шарлотта Филиппина де Дюрфор Дюрас

Переводчик: Марта Уорд Кэри

Дата выхода: 1 сентября 2014 г. [Электронная книга № 46750]

Последнее обновление: 24 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Дианой Адэр, readbueno и командой онлайн-корректоров (<http://www.pgdp.net>) на основе изображений страниц, щедро предоставленных Internet Archive (<https://archive.org>)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ТЮРЕМНЫЕ ДНЕВНИКИ ВРЕМЕН ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ" ***

Электронная книга проекта "Гутенберг", Тюремные дневники времен Французской революции, Луизы Генриетты Шарлотты Филиппин (де Ноай) де Дюрфор, герцогини де Дюрас, Переведенная Мартой Уорд Кэри

Примечание: Изображения оригинальных страниц доступны через интернет-архив. Посмотреть <https://archive.org/details/prisonjournalsdu00dura>



Фронтиспис

ТЮРЕМНЫЕ ДНЕВНИКИ ВРЕМЕН ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ГЕРЦОГИНЕЙ ДЕ ДЮРА, УРОЖДЕННОЙ НОАЙ

Перевод миссис М. Кэри

НЬЮ-ЙОРК
ДОДД, МИД И КОМПАНИЯ
1892

Авторское право, 1891,
Автор: Додд, Мид и Компания.
Все права защищены.
Издательство университета:
Джон Уилсон и сын, Кембридж.

Содержание.

	Страница.
Тюремная жизнь во время Французской революции	7
Добавления	139
Мемуары мадам Латур	159
События 21 июля 1794 г.	199
Рассказ очевидца происшествия от 22 июля 1794 г.	209
Письмо мадам герцогини де Дюра, урожденной Ноайль, месье Греле	227
Выдержка из "Воспоминаний Европы", 24 апреля 1809 г.	229

ТЮРЕМНАЯ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Я был арестован вместе с моими отцом и матерью 23 августа 1793 года в нашем замке Муши-ле-Шатель в департаменте Уаза. 6 октября того же года меня отвезли в тюрьму Сен-Франсуа-а-Бове, расположенную в старом монастыре, а 20 числа того же месяца - в тюрьму Шантийи. Там я оставался до 5 апреля 1794 года, когда меня перевели в Париж, в Коллеж дю Плесси, откуда я был освобожден 19 октября следующего года.

ТЮРЕМНАЯ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

НАПИСАНО В 1801 ГОДУ, В IX ВЕКЕ. РЕСПУБЛИКИ.

Период моего заключения в разных тюрьмах во время правления террора был настолько изматывающим, что мысль о том, чтобы описать его подробности, тогда не приходила мне в голову; но когда я получил утешение, снова увидев своего сына, он пожелал узнать об этом все. Я боялся, что меня одолеют чувства, если я попытаюсь рассказать ему подробности, и поэтому решил написать следующие мемуары.

Мои родители удалились в свое поместье Муши-ле-Шатель, в департаменте Уаза, в сентябре месяце 1792 года. Я сопровождал их туда и был их единственным спутником. Из соображений благоразумия они решили никого не навещать. Это лишение ничего не стоило моему отцу, так как он был от природы застенчив, хотя положение, которое он занимал, вынуждало его постоянно жить в большом мире. Моя мать, которая горячо любила его, привыкла к уединению, покоровшись воле Провидения, с естественным счастливым настроением, сохранявшимся во всех событиях ее жизни.

Она любила систему во всем и так успешно внедрила ее в нашу повседневную жизнь, что это быстро прошло. Чтение, работа, игры и прогулки заполняли каждое мгновение. Моим родителям доставляло удовольствие угощать сборщиков урожая во время их изнурительного труда, сочувствовать их бедам и помогать им добротой. Несмотря на положение, в которое Революция поставила моего отца, и естественное отвращение, которое, по его словам, он испытывал к тем, кто был в ней замешан, он дал добровольцам средства оплатить их путь. У моего отца была, если можно так выразиться, страсть к благотворительности. Его руки всегда были готовы отдавать, и всякий раз, когда он получал какую-нибудь сумму денег, он через несколько часов с удовлетворением заявлял, что у него ничего из них не осталось.

Он ничего не мог утаить, когда знал, что другие страдают; посещение больницы, помощь, оказываемая частным образом, всевозможные добрые дела и слова утешения — фактически, все добрые дела были ему знакомы; только в них он находил счастье.

Я видел, как он отказывался от вещей, которые мог бы счесть необходимыми для себя, чтобы увеличить число своих благотворительных фондов. И все же мой отец родился с очень несчастливым характером; состояние, почести и все удовольствия, которые обеспечивало ему его положение, были испорчены самым жалким недовольством. Я часто старался твердо и уважительно показать ему, что Небеса ниспослали ему все дары и что в его положении нет недостатка ни в чем. Он терпеливо выслушал то, что я хотел сказать; но мне не удалось убедить его. Я беспокоился сам и ничего не добился. Моя мать, напротив, часто говорила мне, что если бы она вернулась в общество, то ни в малейшей степени не захотела бы менять свой образ жизни. У нее был очаровательно веселый нрав, и она ни на минуту не теряла настроения.

Несколько раз во время Революции мне предлагали эмигрировать. Один из моих родственников в разное время посылал за мной и убеждал меня согласиться на это. Я всегда отказывался, испытывая большое отвращение к отъезду из своей страны и желая позаботиться о старости моих родителей, которые уже были разлучены с некоторыми из своих детей.

Как велико было бы мое сожаление, если бы я не остался с ними до того момента, когда меня лишили свободы. До последнего вздоха я сохраню память об их доброте и самую нежную благодарность за хороший пример и ежедневные уроки добродетели, которые я получал от них.

Но вернемся к деталям нашей семейной жизни в Маучи. Каждый день я был полон удивления, видя, как мой отец, который с юности привык командовать (ему в возрасте семи лет вернули пост губернатора Версаля после смерти его отца), безропотно подчиняется революционным законам и всем тем, кто их исполнял. При старом режиме его все беспокоило, но во время правления террора он был спокоен, потому что полностью подчинился воле Божьей. Религия регулировала все поступки в его жизни. Для него это действительно было вечным счастьем.

Во время нашего пребывания в Муши мы испытывали большое беспокойство. Мы ничего не знали о судьбе моего старшего брата.^[1] За его голову была назначена награда, и объявления об этом были вывешены на углах улиц Парижа, а в газетах сообщалось, что он был гильотинирован. Однажды днем, в октябре месяце (10-го), мы увидели приближающийся к нам довольно большой отряд войск, состоявший из гусар и национальных гвардейцев из разных деревень поместья Муши. Этому предшествовал комиссар Комитета общей безопасности по имени Ландри, который приехал арестовать моего брата, полагая, что он скрывается в замке. Мы были удивлены, но не испуганы. Абсурдно было предполагать, что он выбрал бы дом своего собственного отца для своего укрытия. Они искали повсюду под предлогом того, чтобы схватить его и изъять оружие, но ничего не нашли.

Официальный отчет, составленный комиссаром и муниципалитетом, подтверждает это.

Составление протокола и обыск длились с пяти часов вечера до одиннадцати. Ландри призвал моего отца осудить своего сына, хотя он даже не мог знать, жив тот или нет. Он ответил с большим достоинством, что такое требование столь же сурово, сколь и необычно, и что он не согласится на него; тем не менее он попросил Ландри взять что-нибудь поесть и одолжил ему одну из своих оседланных лошадей, чтобы отвезти его обратно к карете. Мой отец, который от природы был очень вспыльчивым, умел держать себя в руках, когда этого требовала важность случая.

Гусарский офицер, командовавший отрядом, был очень хорошим человеком. Он рассказал нам, что шел со своим отрядом по шоссе из Бове в Париж; что, поскольку комиссар Комитета общей безопасности потребовал сопровождать его в Муши, он был вынужден подчиниться ему, хотя и с большим отвращением, и что он прибыл с самыми добрыми намерениями, какие только возможны. Он немедленно дал мне доказательство этого, так как прошептал мне на ухо, что, если бы мой брат был в доме, он посоветовал бы мне поторопиться с его побегом и что он был бы очень рад этому. Я сохранил чувство искренней благодарности к этому офицеру, имени которого я не знаю; он был родом из области Руан.

Сильная враждебность, проявленная при попытке захватить моего брата, усилила наше беспокойство о нашей собственной судьбе. Сообщение, распространенное газетами, о том, что он был в Англии, несколько успокоило нашу тревогу; и месье Ноэль (деловой человек моего отца, который доказал свою самую сильную привязанность к нашей семье) впоследствии заверил нас в правдивости этого сообщения. Когда он вошел в гостиную, мы были очень взволнованы, не зная, какие новости он собирается нам сообщить.

Были приведены различные сведения о том, каким образом мой брат избежал эшафота. Одни говорили, что он сбежал из тюрьмы, заплатив сто тысяч крон Мануэлю, тогдашнему прокурору коммуны; другие - что он покинул Париж, переодевшись извозчиком, и его видели проезжающим по нескольким дорогам.

Правда в том, что его так и не арестовали и что он нашел хороших и храбрых людей, которые были достаточно добры, чтобы спрятать его в своих домах; что он несколько часов оставался на самом верху Лувра, растянутый на балке, в тот самый момент, когда производился знаменитый сентябрьский обыск 1792 года; и что позже он сбежал с помощью паспорта в Гранвиль, где месье Модюит, старый наставник его сына, морской комиссар, помог ему сесть на корабль до Дувра.

Месье Модюит был гильотинирован, но на суде он ни словом не обмолвился о делах моего брата. Мой бедный брат, отплыв из порта, думал, что избежал смерти. Шторм вынудил его судно вернуться в порт. Он был вынужден спрятаться в таком близком месте, что его страдания от нехватки воздуха были близки к тому, чтобы выдать себя. Поиски закончились как раз вовремя, чтобы спасти его жизнь, и он снова отправился в плавание. Также неверно, что он потратил большие суммы денег, чтобы избежать опасности. Ему не пришлось потратить больше двух тысяч крон. Сознание того, что он вне опасности, уменьшило наше растущее с каждым днем беспокойство.

У нас была спокойная совесть, но положение дел становилось очень угрожающим, а будущее - очень тревожным. Мы часто обсуждали это. Я утешался тем, что облегчал положение моих дорогих родителей, и они выказывали огромное удовольствие, оказывая мне внимание. Я скрывал от них ужасные мысли, которые постоянно приходили мне в голову, и старался отвлечь их от тех, которые иногда приводили их в волнение. У нас не было даже утешения в религиозном богослужении, поскольку приходской священник принес присягу гражданскому уставу, требуемому от духовенства; но до нашего ареста у нас была возможность послушать мессу от католического священника. Я от всего сердца молился Богу о благодати, достаточной для того, чтобы вынести все ужасные вещи, которые я предвидел в нашем будущем опыте. Примерно 15 августа 1793 года Колло д'Эрбуа и Изоре были отправлены *миссией* в департаменты Эна и Уаза. Там немедленно привели в исполнение указ о подозреваемых, хотя в Париже это было сделано только 18 сентября следующего года. В результате все священники и дворяне были арестованы. 23 августа муниципалитет Муши уведомил нас о приказе оставаться под арестом в наших домах до тех пор, пока дома заключения не будут готовы принять нас. Мэр, который был ревностным патриотом и склонялся к крайнему, а не умеренному исполнению суровых законов, сказал нам, что это мера ради общественной безопасности — фраза, широко использовавшаяся во времена террора, — и что нам не нужно беспокоиться. Нам разрешили гулять в парке на расстоянии ста шагов и бесплатно пользоваться внутренним двором, при условии, что решетка была закрыта. Иногда мы ходили туда, чтобы поговорить с людьми. Такой образ жизни был всего лишь приучением к надвигающемуся рабству. Одним весьма необычным фактом было то, что, поскольку население Маучи было небольшим, наши собственные иждивенцы действовали как национальные гвардейцы и стояли на страже у наших ворот. Я полагаю, что среди них были те, кто получал удовольствие, делая это; ради милосердия я умалчиваю об их поведении.

Однако очень немногие из них убедительно доказали моим родителям свою привязанность. Я приведу список их имен в конце этих мемуаров.

Муниципалитет Муши направил петицию в департамент Уаза с просьбой разрешить нам оставаться в его пределах и под его собственную ответственность. В нем в добрых выражениях говорилось о нашем мудром и осмотрительном поведении и о нашем подчинении законам. Департамент Уаза удовлетворил ходатайство моих родителей, но они сочли меня недостаточно взрослой, и в Бове поговаривали, что хотели бы видеть в Шантийи титулованную женщину. В результате сержант национальной жандармерии прибыл с четырьмя всадниками, чтобы отвезти меня в Бове. В тот момент я был болен и лежал в постели. Деревенский хирург по фамилии Марэ и врач моего отца сочли, что я не в том состоянии, чтобы меня переводили; но их свидетельств было недостаточно, и сержант послал за врачом Отделения, который решил, что мне необходимо остаться в Муши, и составил официальную бумагу относительно моего состояния. У меня оставалось около пяти недель для восстановления сил, за это время в Департамент было направлено несколько петиций в мою пользу. Месье Лежандр посетил Колло д'Эрбуа и Изоре. Но все эти усилия оказались бесплодными.

Я был настолько убежден, что меня посадят в тюрьму, что собрал все свои вещи и надеялся, что моего наказания будет достаточно для всех. Мне стоило больших страданий покинуть моих уважаемых родителей, которым я утешался тем, что был полезен.

Мне стало немного лучше, и в течение нескольких дней я выходил во двор подышать свежим воздухом, когда увидел прибывшего человека, одетого в форму Национальной гвардии, — это был командир гвардии в Бове, и звали его Пулен. Я сразу же заподозрил, какая миссия ему поручена, и договорился с ним, что мои родители не должны знать о времени моего отъезда. Мы договорились, что по сигналу, который он мне подаст, я под каким-нибудь предлогом выйду из гостиной и не вернусь в нее. Было важно, чтобы мои родители не испытывали слишком сильных эмоций. Я спокойно подошел к ним и сообщил о своем аресте. Сначала они мужественно восприняли это сообщение. Я избегал говорить им что-либо, что могло бы их взволновать, и беседовал с офицером на обычные темы. Он не стал рыться ни в моих пакетах, ни в моих бумагах. Наконец настал момент, когда я был вынужден оставить их.

Мне казалось, я предвидел, что никогда больше не увижу своих родителей.

Я ушел, ничего не сказав, но с разбитым сердцем. Я чувствовал, что мои конечности подкашиваются подо мной. И та сцена горя, которую я описываю на том самом месте, где она произошла, до сих пор вызывает у меня глубокое волнение, когда я вспоминаю ее; но есть чувства, которые невозможно выразить. С тех пор мне говорили, и мадам Латур также описывает это в своем дневнике, что мои отец и мать пребывали в ужасном унынии; они не принимали пищи и проводили ночи в слезах, постоянно повторяя, что были лишены половины своего существования, когда забрали их дорогую дочь.

Это было 6 октября 1793 года, когда я выехала из Муши в пять часов вечера в одном из экипажей моего отца с месье Пуленом и моей горничной. Мы добрались до Бове после двухчасовой поездки. Карета накренилась, пока мы ехали; офицер пытался заверить меня, что никакой опасности нет. Я несколько дерзко ответил: "Я боюсь Бога, дорогой Эбнер, и больше ничего не боюсь".^[2]

Однако внутренне я сильно страдал. К счастью, темнота скрывает слезы, которые текли из моих глаз. Я искренне молился Небесам поддержать мое мужество.

У офицера был приказ сжечь меня в тюрьме. Он пошел в Революционный комитет просить разрешения провести ночь в его доме; ему это было предоставлено. Позже я узнал, что этот добрый поступок, совершенный без моего ведома, и безукоризненная манера, в которой он обращался со мной, навлекли на него преследование, и что он был вынужден бежать из Бове. Его жена приняла меня очень вежливо. Она попыталась уговорить меня поужинать; я согласился совсем немного, но легко представить, что аппетит у меня был не из лучших. Я провел ужасную ночь. Безысходное положение моих родителей постоянно давило на мой разум и сердце — их возраст, их одиночество (они, которые так недавно были окружены таким количеством родственников и друзей) и неопределенность их будущего, которая заставляла так многого бояться.

У меня не было горя пробуждения, столь ужасного для несчастных. Я получила всевозможную заботу от моей доброй хозяйки, которая накормила меня завтраком со своим мужем и с ней самой. После этого я отправился в монастырь монахинь третьего ордена Святого Франциска, который был занят несколькими больными солдатами и заключенными, которых временно поместили сюда, пока не наберется достаточное количество для формирования конвоя и отправки в Шантийи. Я вошел в гостиную, где собралось общество; оно состояло из священнослужителей, нескольких дворян и нескольких женщин. Самыми важными из них были, среди прочих, человек по имени Потер, глава мануфактуры Шантийи, монахиня, маркитант и т.д. Они внимательно изучали мое лицо. Я изо всех сил старался понравиться своим новым товарищам, а затем попросил проводить меня в мою комнату, которая представляла собой бывший бельевой чулан, подальше от всех, так что, если бы я чего-нибудь захотел, мне было бы невозможно, чтобы меня услышали.

Месье Аллу, наш сосед из Муши, который часто навещал моих родителей, оказал мне все, что было в его силах, и убедил меня поселить в моей квартире молодую девушку, заключенную. Я согласился, хотя и с крайней неохотой, поскольку предпочитал оставаться один. Грустные мысли мешали мне спать, к тому же я так непривычен был лежать на мешковине вместо постели. Мне сразу же пришлось отказаться от привычки иметь свет, от которого я очень зависел; но, будучи обречен на большие лишения, я с этого момента отказался от жизненных удобств и решил научиться удовлетворять свои собственные потребности. Для начала я приготовила немного шоколада, который был ужасен. Видя свою неспособность, я взял несколько уроков, а через день или два отважился пригласить на завтрак одну из своих соседок, и она сочла себя обязанной из вежливости похвалить мой новый талант. Я устраивал свои занятия так, чтобы дни не казались такими долгими. Я читал, я писал и назначил определенное время для прогулок по монастырям. Они всегда были наполнены запахом серы, которая часто использовалась в доме для лечения солдат, страдающих чесоткой. Воздух был нехороший из-за сточных канав со стоячей водой, которые пересекали двор. Нам не разрешалось выходить в сад; им пользовались выздоравливающие. Старая часовня монахинь все еще существовала, и большинство заключенных ходили туда помолиться. Иногда я думал, как велика, должно быть, в глазах Небес разница между нами и чистыми духами, которые побывали там до нас. Они добровольно отказались от своей свободы, чтобы посвятить ее Богу, в то время как я чувствовал, что потеря моей была великой жертвой. Раньше стены этого священного места отдавали эхо только хвале Богу, а теперь внутри них солдаты

беспрепятственно богохульствовали. Однажды, когда был на исповеди, меня оглушили песни времен Террора, поскольку гауптвахта Революционной армии находилась прямо за моей комнатой.

Среди заключенных было несколько почтенных священников, которые подали нам пример совершенного подчинения воле Провидения. Я изо всех сил старался им подражать. Вскоре после моего прибытия в Сен-Франсуа управляющий Муши по имени Лежандр (которого я включу в список наиболее преданных нам людей в конце этих мемуаров) был арестован и брошен в нашу тюрьму из-за его привязанности к моим родителям. Это меня особенно огорчило, потому что, если бы я предупредил его в Бове, когда месье Пулен приехал арестовывать меня в Муши, у него было бы время сбежать. Я высказал ему все, что я чувствовал по этому поводу. У меня еще не раз будет возможность поговорить о нем.

По ходатайству месье Пулена в Революционный комитет Бове моей служанке (мадемуазель Дюбуа) было разрешено каждый день приходить на час в Сен-Франсуа, чтобы помочь мне привести себя в порядок. Я никогда не придавал этому ни малейшего значения; но для меня было настоящим удовлетворением получить через нее кое-какие известия от моих родителей и передать им информацию о себе, которую они тоже восприняли с величайшим интересом. Представьте, каким ужасным потрясением для меня было, когда я услышал от месье Аллу, нашего соседа из Муши, что 16 октября по приказу Комитета общей безопасности они были арестованы и доставлены в Париж, в большую тюрьму Ла Форс. Я не знал никаких подробностей (они изложены в мемуарах мадам Латур) и был совершенно потрясен. Этот бедняга тоже был тронут, и мы плакали вместе. Я надеялся, что преклонный возраст моих родителей, их добродетели и голоса бедняков смягчат гнев установленных властей; но Робеспьер, узнав, что крупные собственники, владевшие поместьями в окрестностях, удалились в них и спокойно живут на них, решил изгнать их и посадить в тюрьму.

Мои родители провели в Ла Форс всего двадцать четыре часа. Их перевели в Люксембург, который они покинули только для того, чтобы отойти в вечность.

Каждый день я узнавал печальные новости от заключенных, которые читали общественные газеты и желали сообщить их мне. Я отказался слушать, думая, что сделать это значило бы только навлечь на себя дополнительную боль. Однажды, когда я гадал, что переживают мои родители, я увидел, как в монастырь входит месье д'Арион, капитан Национальной гвардии (очень честный человек, которому я впоследствии был многим обязан), который, казалось, не хотел встречаться со мной, настолько он был встревожен своей миссией. Он послал заключенного передать мне приказ о моем тюремном заключении, копия которого приводится ниже: —

Бове, 19 октября этого года,

28 - й день 2-го месяца

второй год. Республики.

Вам сообщается, что вы должны отправиться в Шантийи в ночь с субботы на воскресенье. Вам следовало бы сделать все необходимые приготовления и взять с собой все, что вам абсолютно необходимо.

Если у вас возникнет необходимость нанять экипаж, дайте мне знать.

(Подпись)

E. Portier. Мишель,

Taquet, Dufour,

Прокурор коммуны.

Мадам Дюрас [даме Дюрас], чья карета стоит в "Золотом Льве". Она может воспользоваться ею, если пожелает.

Оно было адресовано "Мадам Дюра, Сен-Франсуа".

Как только нам сообщили о приказе уходить, мы загорелись желанием узнать, все ли заключенные в тюрьме Сен-Франсуа будут участвовать в этом отряде. В то время только часть из них предназначалась для Шантийи. Мы провели целый день, собирая наши вещи. Мои были доставлены туда из Маучи, что избавило меня на то время от необходимости перевозить их, к чему я впоследствии был вынужден привыкнуть. Я забыл сказать, что смотритель тюрьмы Святого Франсуа был самым гуманным из всех, к кому я был приставлен. Я не мог определить, сожалею я или рад смене тюрьмы. Те, к которым я направлялся, были бесконечно более жалкими; но тогда я не знал их ужасных методов.

Около одиннадцати часов вечера нам сказали садиться в вагон, но поезд тронулся только в полночь. Он состоял из вагонов и колясок разных видов. Я взял к себе месье де Реньяка, офицера королевской конституционной гвардии, который впоследствии был гильотинирован, монахиню из Отель-Дье в Бове и мою камеристку. Мой кучер, для которого это путешествие было чрезвычайно мучительным, плакал всю дорогу. Нас сопровождали Бове, национальная гвардия, частью пешие, частью верховые. Когда светила луна, люди вышли к своим дверям, чтобы улюлюкать в нашу сторону и бросать в нас камни. Поезд, который шел впереди нас, был оскорблен несравненно хуже. С господином Дескуртилем, старым и очень уважаемым солдатом, который во всех случаях оказывал услуги городу Бове, а также с господином Валлоном, добрым покровителем бедных, обращались самым возмутительным образом.

Наша процессия двигалась так медленно, а мы так часто останавливались, что добрались до Клермона только к одиннадцати часам утра, проехав шесть лье. Мою монахиню, которая не привыкла путешествовать в карете, всю дорогу чуть не подташнивало. Я читала почти всю дорогу.

Мы пообедали в гостинице в Клермоне. Люди смотрели, как мы спешиваемся, с выражением жалости. Это чувство, которое обычно так нежелательно вызывать, доставляло нам удовольствие из-за его редкости во времена правления Террора. За время нашего короткого пребывания в Клермоне не произошло ничего заслуживающего внимания, если не считать того, как нас охраняли. Наш конвой, вынужденный отдохнуть и перекусить, передал нас на попечение Национальной гвардии города, среди которой было несколько заключенных, помещенных туда для увеличения численности отряда. Близость Фиц-Джеймса заставила меня с грустью вспомнить прошлое. Я была так счастлива там с самого раннего детства; теперь мне ничего не оставалось, кроме как сожалеть об этом; все те, с кем я провела там свою жизнь, были

либо мертвы, либо уехали. Но пока я предавался этим печальным мыслям, нам сказали, что пора отправляться. Поезд тронулся, и мы прибыли в Шантийи в три часа.

Было бы трудно описать суматоху, вызванную распаковкой множества транспортных средств, нагруженных матрасами и другими вещами, принадлежащими заключенным, которые были беспорядочно брошены во дворе, без какого-либо иного приказа, кроме как выгрузить их, и того, что узлы не следует относить наверх до следующего дня, когда будет время их осмотреть.

Следовательно, в первую ночь после очень скудного ужина было принято лечь спать на стул или соглашаться на матрас какого-нибудь заключенного, желающего лишиться себя его. Когда мы проходили мимо железной решетки у входа в это заведение, я вспомнил 2 сентября и сказал месье де Реньяку, что, вполне вероятно, нас собрали вместе, чтобы заставить подвергнуться той же участи; он, по-видимому, тоже так думал. Было предпринято несколько попыток изобрести заговоры, которых на самом деле в Шантийи существовало не больше, чем в других тюрьмах. Чтобы сделать название тюрьмы менее ужасным, их называли домами ареста, правосудия, содержания под стражей и т.д.; Но поскольку во времена террора эти слова были синонимами, я буду использовать их без различия. Всю компанию отвели в великолепно украшенную позолотой часовню, где я слушал мессу во времена принца де Конде. Он был полностью заполнен мешками с мукой; я нашел один, который был удобно уложен, и уселся на него. Затем управляющий домом по имени Нотте, депутат от департамента Уаза, поднялся по ступеням алтаря, чтобы объявить перекличку, держа в руке список тех, кто составлял партию; справа от него был человек по имени Маршан (который был сыном очень уважаемой служанки моей тети, мадам Маршаль де Ноай), агент Революционной армии, пользовавшийся доверием Комитета общественного спасения. Казалось, ему доставляло удовольствие, когда назывались имена священников и знати, говорить им самые резкие вещи. Деревенский викарий из окрестностей Бове, и мне пришлось хуже всех. Этот бедный священник был в полной растерянности; что касается меня, то я нисколько не возражал против этого. Этот человек Маршан спросил Нотте, позаботился ли он о том, чтобы у меня было очень плохое жилье, и он ответил, что выбрал для меня самую маленькую комнату из всех возможных. Когда перекличка закончилась, мадемуазель Дюбуа, моя камеристка, попросила разрешения остаться со мной в тюрьме. Уполномоченные отклонили ее просьбу и заявили о своей решимости выслать всех тех, кто не был заключенным, кто до этого времени оставался в этом месте. Она была очень опечалена разлукой со мной. Мне не было жаль расставаться с ней, потому что я был чрезвычайно обеспокоен, видя, как она страдает и лишена свободы из-за своей привязанности ко мне. Я с благодарностью вспоминаю то чувство, которое она проявила ко мне в то время, и я очень рад запечатлеть его в этих мемуарах. После очень долгого и утомительного обсуждения мы покинули часовню, испытывая сильное любопытство увидеть наше новое жилище. Я был приятно удивлен, когда они провели меня в небольшую комнату, опрятную и красиво позолоченную, где я должен был побыть один. Нотти хватило хороших манер приберечь ее для меня. Я оценил это еще больше, когда увидел жилье моих попутчиков. Несколько заключенных пришли навестить меня. Ни с одним из них я не был знаком. Казалось, я потерпел кораблекрушение на острове, населенном добрыми людьми. Они сердечно приветствовали меня, и мне разрешили немедленно прислать мои вещи, доставленные из Маучи. В результате я имел удовольствие поспать на кровати — редкая вещь в день приезда. Несколько моих соседей были достаточно любезны, чтобы помочь мне это устроить. Я был совершенно подавлен и ужасно утомлен. Я принимал все эти любезности настолько любезно, насколько это было возможно, но мне не терпелось, чтобы меня оставили отдыхать.

Мадемуазель де Понс, ныне мадам де Турзель, пришла с запиской от своей матери, приглашавшей меня на ужин; а мадам де Шевинье пригласила меня позавтракать на следующее утро. Я с удовольствием принял второе приглашение. Я никогда не был близко знаком с этими дамами. Они были единственными придворными, которые находились в доме. Я встречал их только в домах своих знакомых.

Усталость, которую я перенес накануне, заставила меня уснуть. Едва я встал, как мадемуазель Лефвр, невестка управляющего Муши, вошла в мою комнату, чтобы сообщить мне информацию об обитателях нашей тюрьмы и дать совет относительно моего собственного устройства, — все это было очень полезно для меня. Это очень печально - оказаться совершенно одному посреди толпы. Месье Нотте нанес мне визит; я не нашел его лицо таким суровым, каким оно показалось при прибытии нашей группы, когда он стоял рядом с комиссаром Революционной армии. Он любезно поговорил со мной и сказал, что, поскольку заключенным было очень тесно в их квартирах, он счел за лучшее поместить кого-нибудь со мной в маленький кабинет, который находился под моим контролем. Чтобы войти в него, нужно было пройти через мою палату. Он позволил мне выбрать человека, и я выбрала сестру из больницы, которая приехала со мной из Бове. Она была хорошей женщиной, дочерью деревенского кузнеца, без образования, но очень помогала мне в повседневных нуждах жизни. У меня была возможность выразить ей свою благодарность за все это во время ее тяжелой болезни, когда я действовала не только как ее медсестра, но и как ее лечащий врач, поскольку она не желала обращаться к врачу. Она часто приводила мне доказательства того факта, что, когда человек не получил определенных идей в юности, невозможно понять некоторые из самых простых вещей. Я бы всячески изменял свои фразы, чтобы она могла понять, что я имел в виду, — среди прочего, уважение к мнению и т.д. Она оставалась со мной, пока меня не перевезли в Париж, и никогда не раздражала меня. Это было великим благословением, поскольку наше общение было вынужденным. Вскоре я начал наносить визиты в нашу колонию, которая состояла из очень несочетаемого материала. Здесь были священники, дворяне, монахи, магистраты, солдаты, торговцы и большое количество так называемых "санкюлотов" со всех концов страны, которые были превосходными людьми. Рядом со мной были почтальон, буфетчица и другие слуги, которых я очень уважал. Они очень привязались к почтенному викарию из Бове, который поселился у них. Они называли его своим отцом, оказали ему много услуг и прекрасно заботились о нем во время тяжелой болезни, которую он перенес, находясь в тюрьме. Сначала я узнал кое-что о характере и привычках наших товарищей и о том, кто из них казался мне наиболее честным. Они сказали мне, что среди нас есть образцы самых разных людей и мнений. Были священники, настоящие исповедники Иисуса Христа, которых следовало уважать за их терпение и милосердие, были и такие, которые отреклись от своей профессии и заявляли с кафедры, что раньше они рассказывали только басни. Один из этих беспринципных священников, еще очень молодой человек, служивший в полку, часто говорил, что не знает, почему его держат в тюрьме, потому что каждый раз после Революции он делал все, что от него хотели. Когда в деревне Шантийи проводились гражданские праздники, он сочинял куплеты. Обычно он носил национальную форму. У нас было две настоятельницы — настоятельница Парка о-Дам и настоятельница Руаяль-Лье, мадам де Суланж, которой было почти восемьдесят лет, она была помощницей гувернантки мадам Луизы в Фонтевро и была нежно любима ею. Во время своего пребывания в Компеньи принцесса навещала ее каждый день. (Мадам Луиза, дочь Людовика XV, кармелитка из Сен-Дени, воспитывалась в аббатстве Фонтевро вместе с мадам Викторией и мадам Софи.)

Вскоре после моего прибытия в Шантийи я обнаружил, что потеря свободы не объединяет ни умы, ни сердца и что в тюрьме люди такие же, как и во всем мире, — ревнивые, интригующие, лживые; ибо среди нас было много шпионов, — эпитет, однако, которым часто пренебрегали. Я старался быть вежливым со всеми и общаться только с очень узким кругом.

Я наносил несколько визитов каждый день и принимал посетителей после обеда, в течение которого я также работал. Иногда некоторые патриоты, которых я довольно хорошо знал, притворялись аристократами, чтобы разговаривать со мной; это, без сомнения, была самая неприятная часть дня. Время прошло без особой усталости, потому что я наполнил его молитвой, чтением и небольшой прогулкой по двору, обнесенному с четырех сторон стеной и выглядевшему очень уныло. Сначала мы могли подойти к решетке и поговорить с людьми снаружи; но нам не хотелось этого делать, и, чтобы предотвратить это, на решетку были положены доски. Они скрывали внешний вид и делали общение невозможным. На третьем этаже были террасы, на которые выходили все наши окна; и эти окна в нескольких случаях также служили дверьми; одновременно через них мог пройти только один человек. Это было действительно комичное зрелище, эта вереница заключенных, одетых во всевозможные костюмы и ходящих по кругу, как панорама. Нам часто приходилось останавливаться из-за большого количества прогуливающихся. Мадемуазель де Понс, игравшая на фортепиано в сопровождении г-на де Корберона (офицера французской гвардии, впоследствии гильотинированного), аккомпанировала на скрипке; она занимала одну из квартир, о которых я только что говорил. Вид с него был очень приятным — красивейшие журчащие воды, многочисленные деревни, великолепный лес, прекрасные здания, принадлежащие замку, и зеленая лужайка, на которую так приятно смотреть. Я тщательно обследовал каждую часть нашей тюрьмы. Несколько больших комнат были разделены дощатыми перегородками высотой всего шесть или семь футов. Те, кто занимал эти помещения зимой, сильно страдали от холода. В комнатах, которые не были разделены таким образом, было помещено до двадцати пяти человек. Я обратил внимание на устройство одной из таких общин, в которой кровати без занавесок были поставлены так близко друг к другу, что в течение дня заключенным, чтобы передвигаться, приходилось ставить их друг на друга. Вот список лиц, занимающих эту комнату: республиканский генерал и его жена, священник из Нуайона, двадцати семи лет, несколько молодых людей, две почтенные матери семейств с пятью или шестью дочерьми от четырнадцати до двадцати лет. В другой были солдат и две или три монахини. В соседней с моей комнате находились генерал по имени месье де Куанси, восьмидесяти трех лет, который все еще сохранял силы, его жена, сын, дочь, монахиня из Монастыря Посещения, и мадмуазель де Граммон-Кадрюсс, старшей из которых было около четырнадцати. Особой неприятностью в нашей тюрьме было смешение полов в одном помещении. Тем более я был благодарен за свою маленькую камеру. Маршан, комиссар Революционной армии, пришел навестить меня; он не нашел ничего, на что можно было бы пожаловаться, в убранстве моей квартиры, которая состояла из кровати для прислуги, двух стульев и стола. Кровати и сундуки служили сиденьями, когда компания была слишком многочисленной. Обычно роскошь была для него оскорблением. Я сказал ему, что он не может придраться ко мне. Я ошибся; он ответил, что я, как и мои родители, когда-то перебрал с этим. Он обошел весь дом из конца в конец и вбил себе в голову, чтобы досадить тем дамам, которые, казалось, несколько заботились о своих туалетах, приказав им остричь волосы; а также отправил *санкюлотов* спать в их комнаты. Эти бедняги были обеспокоены этим так же сильно, как и те, кто был вынужден подчиниться этому. Они приходили так поздно, как только могли, и уходили очень рано утром. Они вели себя очень

хорошо, за исключением сапожника из Компьеня, на которого хозяева горько жаловались; он был вспыльчивым и надоедливым. Один из его товарищей, вероятно, лучше воспитанный, чуть не умер от колик из-за того, что из вежливости не захотел будить тех, у кого был вынужден поселиться.

Во избежание слишком активной переписки между заключенными и посторонними были приняты меры, чтобы отправить жителей округа Санлис в аббатство Святого Павла в Бове, а жителей Бове - в Шантийи. Мы не могли написать даже нашим родителям и не могли получать от них вестей без особых хлопот. Из всех лишений, которые нам пришлось пережить, это было тяжелее всего. Пока Нотте возглавлял палату, заключенные постоянно жаловались на него, хотя наше положение было терпимым. Несчастливым свойственно находить недостатки.

Я заверил их, что, если он уедет, нам будет хуже; так оно и произошло на самом деле. Этот человек был страстным, но не злым. Я выяснил, что никогда не следует спрашивать его о чем-либо в присутствии других людей, потому что он боялся, что они могут быть нескромными; но наедине он был вполне любезен. У меня никогда не было никаких причин жаловаться на него. По одной из странных случайностей Революции, он сейчас в нужде и в то самое время, когда я пишу эти мемуары, просит моей защиты, которую я охотно предоставил бы ему, если бы это того стоило.

В целом я был строго послушен домашним правилам, и, следовательно, мне приходилось терпеть меньше неприятностей, чем тем, кто старался их избежать. Это правда, что они менялись так часто, что за ними было трудно следить.

Сначала нас охраняла жандармерия, потом Национальная гвардия Шантийи. Мне сообщил об этом плотник, который, выполняя какую-то работу в моей комнате, сказал мне, что теперь он наш военный командир. Я счел необходимым попросить у него разрешения кое-что сделать на следующий день, и сделал это с такой серьезностью, что присутствовавшая при этом мадам Сегье не смогла удержаться от смеха.

Революционная армия пришла на смену Национальной гвардии и проникла в дом в соответствии с возложенными на нее функциями. В десять часов вечера мы узнали, что на замок нацелены пушки, и в тот же момент услышали, как со скрежетом открывается решетка, сопровождаемая песнями, которые больше походили на ярость, чем на радость. Авангарду предшествовали пушки, барабаны и факелы. Женщины смешались с процессией. Припев "Ça ira, les aristocrates à la lanterne!" повторялся с упрямой враждебностью. Моих соседей охватил ужас, и они, дрожа, вбежали в мою квартиру. Я успокаивал их, как мог, сам не зная почему, за исключением того, что я не так легко поддаюсь чувству страха.

Когда отряд закончил свои танцы и песни во дворе и совершил нечто вроде марша, он расставил своих часовых и удалился. Я в полной мере наслаждался представлением, так как мои окна выходили во внутренний двор.

Я не могу сейчас вспомнить точное время, но через несколько дней после того, как произошла сцена, которую я только что описал, несколько заключенных были отправлены в парижские тюрьмы, среди них месье де Вернон, королевский конюший, у которого была подагра на руках, но на которого надели наручники. С ним был отправлен священник по имени Даниэль. Их отвезли в тюрьму кармелиток на улице Вожирар. Группа из тридцати человек немедленно последовала за ними. Мадам де Понтевес, видя, как они уносят ее мужа, попросила

разрешения у комиссара по имени Мартин поехать с ним. Он грубо ответил ей, удовлетворил ее просьбу, а затем разлучил их, когда они добрались до Парижа. Один из них был помещен в Madelonnettes, а другой - в Ste. Pélagie. Чтобы заполнить парижские тюрьмы, иногда приходилось привлекать рекрутов из соседних тюрем; для этой цели использовались различные предлоги. Заключенным вменялись злые умыслы, такие как контрреволюционные проекты; например, одного называли агитатором, если он обращался к надзирателю или комиссару, чтобы сообщить о своих желаниях.

Когда кто-нибудь приходил инспектировать нас, я держался на заднем плане. Однако я был вынужден предстать перед Марином, чрезвычайным комиссаром, который в сопровождении человека в красной фуражке провел поименный опрос всех заключенных. Он только спросил, как меня зовут. Какой-то офицер, который был с ними, сказал, что однажды обедал в доме месье де Дюра в Бордо и был очень хорошо принят. Я не стал продолжать разговор. Некоторые заключенные заявили о своих причинах и ходатайствовали о том, чтобы их отпустили на свободу. Я удалился, как только смог.

Месье де Сен-Супле, королевский оруженосец, который постоянно беспокоился о получении новостей, был схвачен, предстал перед Революционным трибуналом и погиб на эшафоте вместе со своим восьмидесятилетним отцом и одним из своих братьев. На него донес один из его слуг, но последний был гильотинирован вместе с ним за то, что не предал своего господина раньше. Теперь мы начали слышать о множестве казней; казнь мадам де Ларошфуко-Дюрталь вызвала у меня сильную печаль, а также вызвала крайнюю тревогу за будущее. Она была тридцатилетней вдовой, вела самую уединенную жизнь, заботясь о своих родителях и занимаясь исключительно их счастьем и благотворительностью. Ее увезли из Англизов, где она была заключена в тюрьму вместе со своей матерью, которая была очень старой и крайне немощной. Она предстала перед Революционным трибуналом в качестве свидетельницы по делу своего дяди, месье де л'Эгля, у которого было помутнение рассудка. Он скомпрометировал ее из-за своей слабоумия, и адрес письма, которое ей не принадлежало, был использован как предлог для того, чтобы отстранить ее от должности свидетеля преступления. Приговор ей был вынесен немедленно. Поскольку в тот день что-то случилось с гильотиной, она провела двадцать четыре часа в архиве, ожидая своей казни; все это время она с любовью и рвением призывала своего дядю мужественно встретить смерть. Она много раз уверяла его, что прощает его за то, что он стал причиной ее собственной смерти; и после того, как несколько пробудила в нем чувства, она показала ему, как смиренно умереть.

Я не мог понять, как могло случиться, что заключенные, каждый день слышащие печальные новости, должны испытывать потребность в развлечении. Они собирались, чтобы сыграть по-крупному, послушать музыку, потанцевать и т.д. Некий месье Лелуар, архитектор из Парижа, весьма остроумный, был руководителем всех увеселений. Меня постоянно приглашали присоединиться к ним, но я всегда отказывался.

Нотте отослали из заведения, и нашим сторожем стал бакалейщик из Шантийи по имени Вион. Это был золотой век нашего дома. Лелуар имел на него влияние, и поскольку он был одним из заключенных, мы воспользовались этим; но комиссары Революционных комитетов соседних деревень, большая часть которых работала рядом с нами, могли преследовать нас. На самом деле, это мог бы сделать любой, кто захотел бы взять на себя труд. Я приведу достаточно смехотворный пример: человек по имени Бизоти, нанятый возницей, из любопытства нанес нам

визит и получал истинное удовольствие, оскорбляя всех священников. Жила-была старая дева из Вандейля, когда-то увлекавшаяся охотой, у которой была привычка носить несколько мужской костюм, состоящий из мужской шляпы и халата. Житель фургона сказал ей: "Я вас знаю, вы викарий", - а затем обратился к ней теми же оскорбительными выражениями, которые он употреблял по отношению к священникам. За этим последовали громкие взрывы смеха. Иногда я ходил навестить эту старую деву, которая была очень оригинальной.

Я очень любил семью месье де Бури, капитана французской гвардии, у которого были жена и десять детей. Они являются образцами всех добродетелей; отец по-настоящему религиозен, благороден и хорошо образован; жена мила и добра. Гармония, которая пронизывает их жизнь, напоминает гармонию древних Патриархов. Они полностью подчинились воле Провидения и проповедовали нам своим примером. Несколько благочестивых заключенных собирались в их квартире для молитвы и назидательного чтения. Во всем доме это было место, которое мне нравилось больше всего. Мне казалось, что здесь дышится более чистым воздухом, чем где-либо еще.

Моим главным развлечением было наблюдать из окна за молодыми людьми четырнадцати-пятнадцати лет, которые играли в футбол во дворе, забыв о своем плене и даже не подозревая, что их может ждать казнь. Увы! Ужас охватил одного из них. Юный Гуссенвиль, которому было всего пятнадцать лет, был обезглавлен вместе со своим отцом. Несколько заключенных привели с собой своих детей, даже грудных младенцев. (Мадам де Мопеу кормила грудью одного из них.) Эти дети были разного возраста; я никогда не мог понять, как кто-то осмелился привести их в дома, полные опасностей, не говоря уже о дурном воздухе. Законы теперь запрещают принимать в число заключенных лиц, которые желают находиться там с целью заботы о тех, кого они любят, что очень мудро. У нас в Шантийи было несколько примеров такого рода преданности. Дух всего там был, в общем, лучше, чем в тюрьме, где я с тех пор нахожусь.

Нашим зрителям пришло в голову сажать нас за общий стол, и впоследствии этот обычай получил эlegantное название "есть в столовой". Сначала, во время нашего пребывания в Шантийи, нас кормили зрители закусочных, расположенных при замке. Хранитель Дезиньон был одним из них. Он подавал своим клиентам, вне всякого сравнения, худшие блюда; но я выбрал это из политических соображений, зная, что он больше заботится о тех, чью еду готовил. Он никогда не подводил меня по отношению ко мне. Хотя он был всего лишь подчиненным комиссара, он присвоил себе право оскорблять тех заключенных, которые просили сменить им жилье или чтобы в комнатах, которые они занимали, было меньше народу. Новое соглашение стало для него катастрофой, поскольку он заключил контракт с правительством на снабжение всех тех, кто не мог самостоятельно оплачивать свое питание, а таких было большое количество.

В позолоченной галерее Пети-Шато был накрыт стол,^[3] без скатерти и с двумя сотнями накрытий. Столы меняли местами трижды, так как в доме находилось гораздо больше шестисот заключенных; но старикам и немощным разрешалось оставаться в своих покоях. Один из столов был занят священниками и неженатыми мужчинами, второй - женатыми людьми и детьми, третий - теми, кто был один; и такова была моя ситуация. Все места были пронумерованы, и у каждого из нас был дублирующий номер. Когда прозвенел звонок, мы пришли, как дети, идущие в школу, с корзинками, в которых были наши тарелки, кубки и т.д. Часто предыдущий обед еще не заканчивался, и нам приходилось подолгу стоять группами в

гостиной, которая находилась рядом с галереей. Мы ели суп, который состоял всего лишь из воды с небольшим количеством чечевицы, какой кормят лошадей, травой вместо шпината, пророщенным картофелем и совершенно отвратительным рагу под названием *рататуй*. Я полагаю, что этого слова нет в словаре Академии, и что Институт вряд ли поместит его туда. Мы встали из-за стола голодными. Там был очень сердечный молодой человек, которому мы обычно отправляли все, что оставалось на нашем столе, чтобы хоть немного утолить его голод.

Члены Революционного комитета вместе с офицерами нашей гвардии маршировали вокруг нашего стола в красных фуражках на головах. Один из них — готовивший перуке для всей компании — внимательно наблюдал за нами, чтобы увидеть, воздерживается ли кто-нибудь от мяса. При таких обстоятельствах соблюдать Великий пост было нелегко. Многие люди, однако, соблюдали его строго, хотя великие викарии епархии освободили три дня.

Наши столики были окружены часовыми Революционной армии. Я иногда беседовал с ними. Я нашел среди них одного, которому его служба была крайне неприятна. Это был слуга, которого нужда вынудила занять такое жалкое положение. Он жалел нас и охотно позволил бы себе немного облегчить наше ужасное положение. Одной из обязанностей стражников было сопровождать прачек с обнаженными саблями, когда они приходили приносить и уносить наше белье. Это представление было поистине унижительным, и я приложил некоторые усилия, чтобы избежать его самых неловких подробностей.

Однажды комиссар сделал смотрителю самый жестокий выговор. Он сказал ему, что в доме умерло недостаточно заключенных. На самом деле, из-за отсутствия ухода, плохого питания и неспособности медицинских работников очень многие умерли бы; но Провидение защитило их, и их здоровье сохранилось намного лучше, чем можно было ожидать.

Однажды, когда мы обедали в галерее Малого замка, я вспомнил прекрасные картины, которые раньше украшали ее, доспехи великого Конде, пронзенные пулями, его победы, изображенные великими художниками, все фестивали, которые я посещал в этом месте; но, к счастью, эти мысли посещали меня редко. Обычно у меня возникали там самые заурядные мысли; те, что касались моего меню, — например, попытка внести в него с помощью подкупа фунт масла или несколько яиц, — поглощали меня целиком. В связи с этим у меня была очень забавная встреча с нашим новым комиссаром по имени Пердрикс. У этого человека была гротескная фигура, и он носил костюм не менее гротескный. Его прежней профессией было рисовать собак месье принца Конде. Вероятно, он воображал, что быть более суровым, чем его предшественники, добавит ему достоинства. Нам разрешили разговаривать с ним только через отверстие, проделанное в стене. Однажды я явился в эту странную гостиную, чтобы попросить его позволить мне съесть шесть фунтов шоколада, которые он придержал; он с достоинством ответил, что позволит мне ровно столько, сколько будет полезно для моего желудка. Я заверил его, что для того, чтобы получить точную дозу, единственный способ — это каждое утро завтракать с хирургом, и более того, сказал, что хочу дать ее больному человеку. Он не удовлетворил мою просьбу, и я ушел, несколько рассерженный тем, что не смог получить пищу, которая поддерживала мои силы. Моя уборщица, которая, к счастью, была и его помощницей, вернула мне все необходимое на следующий день.

Я оставляю эти мелкие подробности и расскажу, как бедный солдат Революционной армии, отец семейства, не будучи знаком с Шантийи, прибыл туда ночью и, заблудившись, упал в один из рвов, окружавших замок. На рассвете кто-то из заключенных увидел, как мужчина вырывается и

кричит. Месье де Букероль, офицер военно-морского флота, умевший плавать (он был старшим сыном очень уважаемой семьи Бури), начал заходить в воду вслед за ним. Часовой помешал ему сделать это, сказав, что сбежал заключенный, и оставил этого человека умирать. Его тело было найдено позже, и в нем был опознан один из их собственных людей. Месье де Корберон и священник попросили принести тело в дом, чтобы испробовать обычные средства возвращения утонувшего к жизни. Это было им предоставлено; и они использовали все средства, которые были в их силах, в течение нескольких часов, но безуспешно. После этого акта жестокости можно представить, насколько разгневанными были заключенные. Что ж, они отомстили, взяв на себя сбор пожертвований для вдовы и детей, который составил шестьсот франков. Это были люди, которых во время Революции называли преступниками.

Количество отправленных групп увеличилось до тревожной степени. Каждый день, когда одна из них отправлялась, мы были полны ужаса. Мужья были разлучены со своими женами, матери - со своими детьми; и тем, у кого не было столь дорогих интересов, приходилось жалеть кого-то из своих товарищей. Мы не знали, куда их увезли и что происходило в парижских тюрьмах. Что касается меня, то я воображал, что им было еще хуже, чем нам; и я был совершенно прав, несмотря на постоянные досады, голод и ежедневные тревоги, которые мы испытывали.

Однажды вечером, когда я прогуливался по террасам в восхитительном лунном свете, который заливал лес и заставлял воду искриться, мои уши наслаждались шумом журчания, мои глаза любовались всей красотой, которая меня окружала, и я поздравил себя с тем, что, в конце концов, оказался менее несчастным, чем очень многие люди, которых я любил и уважал. Жалкое положение моих родителей так сильно поразило меня в тот момент, что я расплакалась. Я почти никогда не получал вестей ни от них, ни от кого-либо из друзей, которые были мне дороги.

Нам запрещалось приносить съестные припасы, чтобы в них не были спрятаны письма; и это иногда приводило нас к необходимости есть суп, приготовленный только из соли и воды.

Стражам Исламской революции взбрело в голову выйти на патрулирование с десяти до одиннадцати часов вечера. Они погасили свет и уложили заключенных спать. Однажды солдаты ворвались с обнаженными саблями в апартаменты мадам де Бурсон (бывшей фрейлины мадам де Бурсон), которая была очень больна из-за кровоизлияния и у нее была постоянная лихорадка. Они подошли к ее кровати, внимательно осмотрели ее и вслух сказали, "что у них не составит труда навещать ее долго". Она была при смерти после того, как они ушли. Эти добрые сограждане часто забывали навестить меня, потому что знали, что моя камера находится несколько в стороне от других.

Внезапно группа из сорока заключенных была выпущена на свободу в соответствии с приказом их коммун, согласно закону, который предоставлял коммунам это право. Было всеобщее ликование среди тех, кто отбыл, и сладкая надежда для тех, кто остался; но было видно, что таким образом тюрьмы будут опустошены, а закон отменен. Я был рад проститься с двумя добрыми Сестрами Милосердия из Нойона, думая о том, что они могли бы сделать для бедных, о которых они так нежно заботились; но едва несколько пленников были освобождены, как им на смену пришло большее число. Округа Бове, Нуайон, Санлис и Компьень наиболее усердно набирали рекрутов. У нас никогда не было вакансий. Однажды я встретил незнакомую мне старую монахиню, согбенную возрастом и немощами, которая, казалось, испытывала ужасную боль в одной стороне лица. Одна из ее спутниц рассказала мне, что, садясь в повозку, которая

доставила ее в Шантийи, она осенила себя крестным знамением; и один из солдат сопровождения был так возмущен, что нанес ей страшный удар по щеке, который сломал ей несколько зубов. Какой ужас! Я получил огромное удовольствие, посетив этих святых дев, которые были безутешны из-за того, что были вынуждены покинуть свои убежища, где царили мир и невинность. Чтобы утешить их в этом, их поселили так близко к самым грубым мужчинам в доме, что они постоянно слышали разговоры, которые делали их очень несчастными. Они переносили свое странное и ужасное положение с совершенной покорностью и никогда не упускали случая исполнить свой долг, как будто находились в своем монастыре.

Мои товарищи по несчастью сильно отличались друг от друга; были такие, кто в надежде обрести свободу брал на себя роль доносчика. Некоторые из них пытались расспросить меня; они не были вознаграждены за свои труды. Когда они рассказывали мне небылицы, я не слушал, а сразу менял тему разговора.

Одна вещь, которая поражает меня, когда я оглядываюсь назад, - это то, как мало я страдал от скуки во время моего плена. Мои мысли были ограничены очень узкой сферой. Они касались моего сожаления о разлуке с теми, кого я любил, и потребностей моей повседневной жизни. Недостаток физических упражнений, который мне абсолютно необходим из-за привычек, приобретенных в детстве, вызвал у меня слишком сильное приливание крови. У меня были сильные приливы крови к голове, а также ревматизм. Однажды, проснувшись, я почувствовал себя настолько ошеломленным, что позвал больничную медсестру, которая находилась рядом со мной. Она подумала, что я умираю, и пошла за помощью. Это состояние, которое было действительно опасным, было облегчено рвотой. Я заснул, а когда проснулся, то обнаружил, что окружен добрыми людьми, которым я выразил свою благодарность, а затем разрыдался. Они не знали, что с этим делать. Я извинился и объяснил им, что однажды, несколько лет назад, у меня был похожий приступ, когда я был окружен друзьями и родственниками, а теперь я был ужасно одинок. Ко мне вернулось самообладание, и я вышел на воздух.

Слабое состояние, до которого я был доведен, сделало меня неспособным сдерживать чувства, вызванные этими печальными воспоминаниями, хотя обычно я испытываю отвращение к разговорам о том, что меня огорчает. Послали за тюремным санитарным врачом; это был яростный революционер, маленького роста, очень смуглый, необразованный, одетый *в карманьоле*, *униформусанкюлотов*. Поскольку мне было трудно пускать кровь, я не осмеливался позволить ему пустить мне кровь, хотя очень нуждался в этом. Он поставил мне пиявки на шею, что облегчило головную боль.

К нам пришли очень тревожные вести из Парижа, и это были единственные вести, которые могли до нас дойти. Было сообщено, что нас будут допрашивать с помощью бланков, которые необходимо заполнить. Я очень боялся такого рода пыток из-за моей любви к истине, которая могла скомпрометировать как меня, так и других. Небеса не позволили им реализовать этот низменный проект.

Один из заключенных умер из-за неправильного лечения этого слабоумного хирурга, который, не спросив, нет ли у него грыжи, дал ему рвотное, отчего он умер через сутки.

Обращение с больными было ужасным; им не давали лекарств, некому было ухаживать за ними, и даже заключенным запрещалось оказывать им какое-либо внимание. Однажды я наблюдал пять случаев гнилостной лихорадки в одной комнате. Респектабельная девушка из Крепи,

которая жила в этой квартире, была вынуждена проводить каждую ночь, ухаживая за пациентами. Хороший школьный учитель, который также находился в комнате, помогал ей, как мог. С тех пор я с большим удовольствием виделся с ним и испытываю к нему настоящее уважение.

Г-жа де Бурсон, оправившаяся после своей болезни и визита революционеров, услышала, что г-н д'Эквильи, ее отец, умирает в Амьене. Можно представить себе ее огромное желание подойти к нему и услышать его последние слова; но между нами и теми, кто нам дорог, был воздвигнут непреодолимый барьер. Она могла надеяться только на то, что будет часто получать от него весточки, находясь совсем рядом с ним; но наш сторож Пердрикс отказывался даже от этого и хранил все письма, адресованные ей. По прошествии двух недель ужасного ожидания он послал за ней, чтобы она пришла к нему; это было сделано с целью прочитать ей в присутствии всех письмо, извещающее о смерти ее отца, даже не разрешив ей взять его, что, по крайней мере, дало бы ей утешение в том, что она узнала подробности. Бедная мадам де Бурсон была в ужасном состоянии. Я сделал для нее все, что было в моих силах, и отвел ее обратно в ее комнату.

Однажды, когда я сидел один в своей комнате, вошли несколько офицеров нашей гвардии вместе с мсье Ламбером, военным комиссаром. Страх перед чем-то ужасным был первым, что промелькнуло у меня в голове; но я ошибся в своем страхе. Этот мсье Ламбер, которому я оказывал услуги при старом режиме, выразил желание осмотреть это место и мою маленькую камеру. Я не подал никакого знака узнавания из-за страха, который всегда испытывал со времен Революции, скомпрометировать тех, кто желал мне добра. Когда офицеры выходили, он пропустил их вперед и сказал мне, что, если мне понадобятся его услуги и я захочу отослать какие-либо письма, он возьмет их на себя и будет рад оказать мне любую любезность. Не могу передать, насколько я был тронут этим предложением, которое, однако, я не пожелал принять. Во время правления террора малейшее проявление доброты к людям нашего ранга было настолько опасным, что я до сих пор испытываю благодарность к нему за его добрую волю.

Пердрикс нас не баловал. Некоторые из нас попросили у него копию нашей записи в тюремной книге; это казалось небольшой услугой, но мы не смогли ее получить. Служащий коммуны Шантийи довольно часто приходил в замок, чтобы выдать справки о проживании. Он проявлял своего рода интерес к заключенным. Всякий раз, когда с ними не обращались сурово, это происходило из-за естественной дружелюбности людей. Г-н Валлон из Бове, доверяя клерку, поручил ему раздобыть для него немного денег; тот милостиво принял поручение и исчез. Я никогда бы не подумал, что необходимо подтверждать свое пребывание в тюрьме. Мне казалось, что достаточно было бы составить список тех, кто там находился; но для меня оказалось очень удачным, что я предпринял предосторожность, которую считал излишней, поскольку был внесен в список *эмигрантов* во время моего заключения.

Мне не понравился прием, оказанный толстому викарию из Нойона, который отступил, донес на многих наших товарищей по заключению и стал причиной их заключения в тюрьму. Ему кричали с верхней площадки любой лестницы, по которой он пытался подняться; толпа отталкивала его назад и использовала в нем шприцы. Мне было очень жаль видеть среди нас человека, столь утратившего принципиальность, но я бы предпочел не видеть, как оскорбляют какого-нибудь несчастного. Любой человек несчастлив, потерявший свою свободу; и при таких обстоятельствах больше всего следует жалеть тех, кто порочен. Мне было жаль также тех, кто,

вместо того чтобы думать о более серьезных вещах, питал себя тщетными надеждами относительно будущего и возможности сбросить свои оковы.

Я привык жить в Шантийи, и мои товарищи по несчастью относились ко мне с большой добротой. Мадам де Сегье и мадемуазель ле Карон де Трупюр, ныне мадам Фломон, обе любезные и превосходные женщины, были для меня большим утешением. Я пыталась помочь тем, кто нуждался в мужестве. Семья Коинси, поселившаяся неподалеку от меня, была хорошей компанией. Я получил большое утешение с религиозной точки зрения. Почтенный священник взялся исповедовать меня и даже причастить. У него хватило смелости взять с собой большой запас освященных облаток, и он сохранил их, несмотря на опасность, которой подвергся бы, если бы этот факт был обнаружен.

Я был вполне доволен своей судьбой, поскольку мне пришлось пережить тяжелую. Я не мог бы мечтать о лучшей тюрьме; Провидение поместило меня туда, и за шесть месяцев пребывания я привык к этому.

Ближе к концу марта 1794 года я получил письмо от своей матери, полное доброты, но очень огорчившее меня. Она сказала мне, что ей показалось удивительным, что я не обратился к правительственным комиссарам, которые приехали в Шантийи, с просьбой разрешить мне присоединиться к ней. Этот намек казался приказом Провидения, изменившим мою судьбу. Я немедленно поинтересовался, когда должен прийти гражданин Мартин, который осматривал наш дом. Я вручил ему петицию с просьбой отправить меня в Люксембург первым поездом, идущим в Париж. Он согласился, а затем занялся подготовкой самой отвратительной вечеринки, состоящей из молодых девушек, которых вырвали из объятий их матерей, не зная, для чего они предназначены.

Многие люди верили, и об этом действительно говорили, что намерениями террористов было выдать их замуж *засанкюлотов*. К этой группе присоединились несколько священников, женщин, мирян и т.д. Несчастные матери были в отчаянии. Я был свидетелем сцены с мадам де Понс (бывшей виконтессой) в апартаментах Пердрикса. Она упала на колени перед ним и перед Мартином; она сказала им все, что могло подсказать отчаяние такой минуты, используя самые трогательные выражения; они ничего не хотели слушать. Она упала в обморок к их ногам. Придя в сознание, она умоляла позволить ей хотя бы последовать за дочерью; ей отказали.

Я забыл сказать, что за минуту до того, как мадам де Понс пришла навестить Пердриса, последний послал за своей дочерью и в присутствии Мартена и двух жандармов сказал ей:

- Как тебя зовут? - спросил я.

"Понс".

- Да, но назовите свои христианские имена.

- Вам следует поговорить с моей матерью; я пойду за ней.

- Нет, нет, я спрашиваю, как вас зовут.

- Вот они. Могу я узнать, для чего они вам понадобились?

- Завтра вы выйдете отсюда с другими заключенными и отправитесь в другую тюрьму.

"Без мамы! О Боже! Какова будет моя судьба?"

- Уходи, или я прикажу увести тебя отсюда.

Мадам де Понс написала Мартену несколько писем, прося лишь об отсрочке; она предлагала все свое имущество Республике; и единственным ответом, который она получила, было: "Ваша дочь должна уехать!"

Я занялся приведением в порядок своих сундуков и упаковкой их для поездки в Люксембург, чтобы иметь при себе только самое необходимое. 3 апреля 1794 года нам было приказано быть готовыми к отъезду на следующий или послезавтрашний день, так как ожидались экипажи. Мои попутчики были в отчаянии от того, что расстались со своими родителями, но я обрадовался, что снова увижу своих; все говорили мне приятные вещи. Я получил много отзывов, полных интереса и сожаления, от заключенных. Были люди, с которыми мне было тяжело расставаться, и тайное предчувствие (хотя обычно я в них не верю), казалось, предупреждало меня, что воссоединение с моими родителями никогда не состоится. Дни 3-го и 4-го прошли в прощании. Я не знал, что поезд должен был отправиться раньше 5-го, в годовщину рождения моего сына. Меня вызвали в десять часов утра. Я нашел фургоны почти полными; следовательно, мне досталось жалкое место рядом с мерзкой женщиной, которая хвасталась, что является другом Робеспьера, и сказала нам, что по дороге она получит кое-какие знаки внимания общества. Она сидела почти наполовину на мне; и в довершение наших страданий солома, которую обычно кладут на дно телят, была оставлена снаружи. Когда мы уходили, двор был полон наших товарищей по несчастью, которые оплакивали и вздыхали о нашей судьбе. Они скрывали свои слезы, боясь, чтобы их не увидели.

Наша процессия остановилась, когда выходила из ворот, чтобы провести перекличку, на случай, если какой-нибудь заключенный сбежал; мы были к этому так же привычны, как и солдаты. Мы были окружены Национальной гвардией и целый час стояли под окнами замка на виду у матерей, безутешных из-за того, что их дочерей увезли, и которые, воздев руки к небу, благословляли их. Это печальное зрелище все еще отчетливо стоит передо мной. Сколько из тех, кто давал эти благословения, и из тех, кто наблюдал за ними, были принесены в жертву на эшафоте! Я хотел бы иметь возможность изобразить и описать полностью всю эту ужасную и трогательную сцену, но я не могу. Что касается меня, я был ужасно подавлен, но изо всех сил старался скрыть это.

Поездом командовал ученик печатника из Бове, который ехал впереди нас. В первой повозке были молодые девушки, во второй - женщины, а в трех других - мужчины. Повозки были окружены мушкетерами. Мы тронулись в путь в одиннадцать часов утра, при очень плохой погоде. Дул ужасно холодный ветер, а на наших повозках не было никаких чехлов.

При въездах в города и деревни наш эскорт собирался вместе, и мы с достоинством входили под бой барабанов.

В некоторых местах, особенно в Крей-сюр-Уаз, нам показывали жесты, указывающие на отсечение головы. В деревне под названием Ла-Мортей внезапно появилась дюжина человек, которые пришли навестить мою грузную соседку и прошептали ей, что она недолго пробудет в тюрьме.

Когда мы добрались до Мениль-Обри, нас заставили выйти на постоялом дворе, то есть женщин и молодых девушек - в одном, а мужчин - в другом. Была суббота. Я угостился омлетом. Сразу после обеда от нас потребовали, чтобы мы на месте оплатили расходы по нашему переезду; я отказался это сделать, искренне заявив, что у меня нет денег. Мадемуазель де Понс повиновалась и дала сто девяносто два франка. Женщины, чьи мужья ехали в поезде, просили разрешения навестить их, пока лошади отдыхают, но не смогли его получить. Пресловутый Мартин, о котором я уже имел случай говорить несколько раз, приехал проинспектировать нас и встал во главе нашего поезда, когда он тронулся. Он был в позолоченном *берлине*, запряженном почтовыми лошадьми, а впереди сидел маленький клерк лет двенадцати. Я сказал себе: "Несчастное дитя, что за воспитание - этот терроризм!" По пути он оглядывал нас, как вышестоящий офицер, обходя из конца в конец нашу унылую колонну, проверяя, все ли в порядке. Иногда наши лошади переходили на рысь, и нас ужасно трясло. Когда мы подъезжали к Парижу, мой бок, который был прижат к фургону, а между ними ничего не было, начал очень сильно болеть. Моя любовь к книгам и страх остаться без них заставили меня набить ими две пары карманов, и они стучали по мне. Если бы нам пришлось идти дальше, я был бы вынужден изменить свою позицию, но я не мог решиться просить о каком-либо одолжении друга Робеспьера.

Поезд остановился около восьми часов вечера в Сен-Дени. Мартин покинул нас. Офицер охраны отделил мужчин от женщин, чтобы отвести первых в Люксембург. Начался дождь, и он продолжался, пока мы не добрались до Парижа. Наши проводники не знали улиц. Мы умоляли их сказать нам, куда мы направляемся; они ответили, что ничего об этом не знают. Провозив нас в темноте до одиннадцати часов, они подъехали к воротам Мадленнет. Нам с большим трудом удалось разговорить привратника, и он сказал, что в этом доме женщин не принимают. Палажи, который был выделен для них отдельно, был довольно переполнен, но мы нашли место в Плесси, старом колледже Университета на улице Сен-Жак, рядом с колледжем Луи-ле-Гран. Наши охранники, которые были всего лишь людьми, устали, и им не терпелось упрятать нас в какую-нибудь тюрьму. Я увидел, что мы направляемся к Консьержери; затем меня охватили ужасные мысли, а также подозрение, что наш конец близок, если мы будем заключены там. Но мы проехали мимо, не останавливаясь, и остаток пути я чувствовал себя более спокойно.

Ворота Колледжа дю Плесси были концом нашего путешествия. Наш проводник долго стучал туда, не привлекая ничего внимания; возможно, никто не слышал, или, возможно, носильщик не хотел, чтобы его будили. Был час дня. Наконец в темноте ворота открылись; мы не знали, где находимся. Я боялся, что повозку, в которой находились молодые девушки, отделили от поезда. Я заметил это, когда мы входили во двор, и испытал печальное удовлетворение, увидев их снова, даже в таком убогом месте. Мы прошли под аркой и остановились. Наши охранники были достаточно любезны, чтобы помочь нам спуститься с наших грубых повозок; у нас едва ли хватило бы сил сделать это без их помощи, такими усталыми и израненными после четырнадцатичасового путешествия.

Первым объектом, привлечшим мое внимание, был мужчина, одетый в нечто вроде халата, который представился носильщиком. На поясе у него висела огромная связка ключей, а в руке он держал фонарь, при свете которого я увидел решетки, огромные железные прутья, груды камней и других материалов — короче говоря, общий вид тюрьмы, которая расширялась. Нас провели через несколько решеток, и нас немедленно окружили пьяные тюремщики — рослые мужчины крепкого телосложения, полуголые, с закатанными рукавами и в красных шапочках на

головах, чья речь соответствовала их костюмам. Я задрожал при виде этих созданий, которые, казалось, хотели познакомиться с нашими юными девушками. Я немедленно предложил пришедшим со мной дамам взять каждую из них под свою опеку, чтобы защитить их от этого вульгарного стада. Они согласились с моим предложением. Мадемуазель де Понс, которая с тех пор вышла замуж за месье де Турзелея, перешла на мое попечение. Я предупредил ее, чтобы она не подходила ко мне сзади, а держалась за мое платье и не отходила от меня ни на минуту. Один из тюремщиков, который был настоящим Голиафом, начал читать список тех, кто составлял наш поезд, и с трудом смог его расшифровать. Поскольку задержание в сторожке у ворот было невозможно, он провел нас в большой зал, где в окнах не было ни единого стекла и только деревянные скамьи, на которых можно было сидеть. Мы ужасно страдали от жажды; худший из тюремщиков, по имени Батист, принес нам ведро воды, которое мы приветствовали с нескрываемым восторгом. Через мгновение он принес еще один для других целей. Визит этого человека, Батиста, сопровождался такими речами, каких мы никогда прежде не слышали, и которые наполнили меня ужасом, особенно из-за наших юных друзей. Около двух часов ночи появился наш сторож; когда мы приехали, его не было. Его звали Хали; лицо у него было бледное и мертвенно-бледное. Он улыбнулся, увидев молодых девушек, и сказал им: "Дети мои, вы еще не внесены в тюремную книгу. Я держу вас здесь только ради человечества. Этот дом находится в распоряжении общественного обвинителя Фукье-Тенвиля и предназначен только для контрреволюционеров; вы, по-видимому, таковыми не являетесь. Завтра будет составлен ваш отчет, и я сообщу вам, куда вы направляетесь."

Каждый пытался заговорить с ним. Настала моя очередь, и я сказал ему, что, поскольку на меня никогда не доносили, я должен быть только причислен к подозреваемым; что меня не следует держать в его тюрьме; и что я покинул Шантийи, чтобы быть переведенным в Люксембургский суд. Я умолял его отправить меня туда. Несколько человек сказали ему, что он не имеет права удерживать нас; он не обратил внимания на то, что они говорили, и приказал принести матрасы, которые были привезены в фургонах. Я не позаботился о том, чтобы захватить его с собой, и поэтому провел ночь, сидя на маленькой деревянной скамейке, пытаясь спрятать небольшое количество бумажных денег, которые были у меня с собой. Я не спал ни минуты; мои спутники тоже. Когда забрезжил день, я с радостью увидел, что наши юные девушки сладко и мирно спят. Я сказал себе: "В их возрасте у человека нет ни опыта несчастья, ни тревоги, порожденной предвидением". Мысль о том, что я увижу своих родителей днем, приободрила мое опечаленное сердце. Было очень холодно. Вошел Батист в сопровождении нескольких своих товарищей, которые рассматривали нас со свирепым удовольствием, решив, что мы были хорошими рекрутами для их заведения и что они получают хорошую долю из наших кошельков. Один из них, бывший лакей мадам де Нарбонн, узнал меня и вел себя со мной очень подобающе. Жандарм, имени которого я так и не узнал, подошел ко мне и прошептал на ухо: "Спрячь свои деньги и драгоценности. Они оставят вам только пятьдесят франков бумажными деньгами и заберут ваши ножи и ножницы". Я поблагодарил его, и он удалился. Хотя сильные душевные муки, которые мы пережили, заставили нас обращать мало внимания на наши физические потребности, мы, тем не менее, сильно проголодались. Мы ничего не ели со вчерашнего дня и переносили чрезмерную физическую и умственную усталость. Мы попросили у наших тюремщиков еды, и после двухчасового ожидания они принесли нам кофе и шоколад. Я позавтракал с приятным чувством облегчения страданий, по крайней мере, на мгновение. Потом Мартин зашел за плащом, который одолжила мадам де Васси; он строго посмотрел на нас. Несколько человек подошли к нему, чтобы о чем-то спросить, среди них были молодые

девушки, которым очень хотелось сообщить своим матерям, что с ними стало. Для этой цели они дали ему несколько записок, но они так и не дошли до места назначения.

Я умолял упомянутого Мартина (при данных обстоятельствах я могу говорить о нем именно так) отправить меня в Люксембург; он дал мне некоторую надежду, но я считал ее слабой. Его визит вскоре закончился. До этого времени Национальная гвардия Шантийи оставалась с нами; теперь ее заменили тюремщики, которые никогда не покидали нас. Появилось новое лицо; это был инспектор по имени Гранпре, у которого было довольно приятное выражение лица. Будучи поражен, увидев нас в этой тюрьме, и немного тронут нашим жалким положением, он пообещал приложить усилия, чтобы нас перевели в дом для подозреваемых лиц, и меня в частности, в Люксембургский дворец. Вошел Хали, наш сторож, и сказал, что наша участь решена, что мы внесены в тюремную книгу как агитаторы и непокорные дисциплине в доме в Шантийи. Раздался крик удивления и горя, но наш сторож был глух ко всем жалобам. Мои товарищи заслуживали таких условий так же мало, как и я; и я заявляю, что после моего поведения там, когда я подчинился всем пожеланиям комиссаров, ни во что не вмешивался, ни на что не жаловался, когда меня по моей собственной просьбе доставили в Париж, я был поражен больше, чем могу выразить. Ложные обвинения были, конечно, наименьшей из моих бед — невинность легко утешает саму себя; но видеть, что я лишен радости воссоединения с родителями, заставляло мое сердце болеть, и тем более потому, что я был совершенно уверен, что они полностью разделяют мое горе.

Мы были вынуждены смириться с тем, что останемся под непосредственным правлением Фуке-Тенвиля, запремся с теми, кого непосредственно обвиняли, и, следовательно, с нами обращались более сурово, чем с подозреваемыми. Мы оставались пятнадцать часов в этом зале, в который нас скорее бросили, чем провели. Если мы выходили по необходимости, нас сопровождали два мушкетера; большинство из нас предпочитало страдать, а не совершать такую прогулку. День подходил к концу; мы заметили движение среди наших тюремщиков. Следуя примеру одного из моих благочестивых товарищей, я отошел в угол зала, чтобы отслужить свою мессу и службу. Это было Страстное воскресенье; следуя примеру нашего божественного Учителя, мы простили оскорбление и старались подражать его терпению.

Нам дали понять, что мы можем писать и получать письма - удовольствие, которого мы были лишены в Шантийи. Мадемуазель де Понс получила одно письмо, которое вселило в нас слабую надежду. К вечеру распространился слух, что нас собираются обыскать и поселить на квартиру. Мы искали новые способы спрятать наши часы и бумажные деньги. Смотритель приказал нам предстать перед ним по двое для регистрации; затем он сообщил нам, что в этом доме принято передавать ему все ножницы, ножи, вилки и часы, потому что такими вещами можно подпиливать решетку. После этого он потребовал все наши драгоценности и деньги, за исключением пятидесяти франков *вассигнациях*. У него хватило вежливости не обыскивать нас, сказав, что он обойдется без этого из уважения к нам. Я отдал ему все, что он требовал, за исключением нескольких *хассигнаций* и маленьких и очень уродливых медных часов, которые были мне дороги, потому что в моих ушах прозвучали последние часы жизни моих дорогих друзей, мадам де Шольн и де Майи. Смотритель не захотел оставить их мне, несмотря на то, что я заверил его, что испытываю сожаление, отдавая их, ссылаясь на ту же причину, что и он, когда требовал часы. Когда эта приятная операция была закончена, нам сказали следовать за

тюремщиками. Они заставили нас подняться на самый верх здания, пройти через решетку на каждом этаже, запертую на огромные засовы и охраняемую четырьмя мужчинами. Мы должны были пройти через это по очереди.

Наконец мы добрались до своих комнат. Мадемуазель де Понс не отходила от меня с тех пор, как мы добрались до Плесси; мы осмотрели наше жилище и обнаружили, что при некотором уходе в нем достаточно места для двух кроватей, так что изголовье одной располагалось в изножье другой. Эта милая девушка разрыдалась, когда увидела наше бедное маленькое заведение, села на матрас рядом со мной и сказала: "Мы наверняка умрем. Невозможно жить в таком стесненном месте. О Боже! пусть никто из моих друзей никогда сюда не придет!"

Я сделал все, что мог, чтобы пробудить в ней мужество, которое совершенно испарилось, и устранить ее неприязнь к столь близкому соседству со старой женщиной, заверив ее, что у меня нет никакой болезни. Наша мебель состояла из двух стульев; матрасы лежали на полу, а стена служила нам подушкой. К счастью, она была свежевыбеленной и, следовательно, чистой. Засовы были задвинуты — печальный момент; ибо звук, который они издавали, говорил нам, что до утра, что бы ни случилось, мы не сможем получить никакой помощи. Нам сказали, что тюремщик ответит, если мы позовем; но я слышал, как одна из моих соседок всю ночь плакала от боли, и никто не пришел ей на помощь.

В первую ночь я отдохнул превосходно. Сильная усталость, которую я перенес за предыдущие дни, заставила меня уснуть. Мой юный спутник проспал крепко и допоздна. Когда рассвело, я обнаружил, что перед нами открывается прекрасный вид; я мог видеть весь Париж. Я с грустью размышлял об ужасном состоянии моей несчастной страны, некогда столь широко известной как место, где можно было провести мирные, счастливые дни. Я подумала обо всех ужасах, которые там творились; слезы навернулись мне на глаза, но я быстро вытерла их, чтобы не обескураживать мадемуазель де Понс, когда она впервые проснется.

Около восьми часов утра засовы были отодвинуты, и вошел сторож Хали в сопровождении огромной собаки. Этот странный человек приветствовал нас так, словно мы находились в одном из старинных замков, где царили изобилие, покой и веселье. Он даже, казалось, был удивлен тем, что мы не были очарованы приятным жильем, которое он нам предоставил. После того как он ушел, а засовы наших товарищей были задвинуты, мы нетерпеливо собрались вместе и без труда нашли друг друга, поскольку коридор, в котором мы находились, был всего трех футов шириной. Первое, что нужно было сделать, это позаботиться о нашем питании. Только после неоднократных просьб мы получили разрешение спуститься на шесть ступенек за водой. Тюремщик, который присматривал за нами, а также его товарищи приняли титул надзирателя, думая таким образом сделать свою должность более почетной. Они были трех классов, и почти все были пьяницами, эгоистичными, жадными, лживыми, в то время как некоторые были абсолютно свирепыми. Мы особо обратили внимание на одного из них, принимавшего участие в резне 2 сентября 1792 года. Этот человек, который в то время был нашим деспотом, был скульптором, и я был поражен, что он согласился на столь жалкую работу. После того, как он разрешил нам сходить за водой, необходимость перекусить дала о себе знать. Стол в столовой тогда еще не был накрыт. Я поинтересовался, как мы можем раздобыть провизию по умеренной цене. Хозяин столовой прислал нам обед; но прежде чем он успевал подняться на этаж, на котором мы жили, который был самым высоким в доме, еду, которую он нес, часто отбирали у него, когда он проходил по другим этажам. Поняв, что я никак не смогу так жить, я послал

узнать, можно ли мне каждый день присылать обед из моего собственного дома. Лукас, бывший клерк моего отца, очень хотел, чтобы это было сделано; но было очень трудно найти кого-либо в доме, кто был бы готов принести это мне, поскольку это считалось опасным занятием и не очень "цивилизованным". Наконец старый почтальон по имени Леро, чье имя я упоминаю с благодарностью, набрался смелости взяться за это дело. Соседка отеля Mouchu, увидев его проходящим мимо, открыто заявила на улице, что не стоит брать мне что-нибудь поесть, потому что меня собираются гильотинировать. Две почтенные дамы собрались вместе со мной, и мы разделили наши припасы, — они тоже кое-что приготовили, — и мы принялись готовить их. Мадемуазель де Понс наша еда показалась недостаточно вкусной, и она присоединилась к женщине из Бове и двум молодым девушкам.

Я вдаюсь в мельчайшие подробности, которые были бы очень утомительны, если бы эти мемуары предназначались для чтения посторонним; но они написаны для моих собственных родственников, и я слишком уверен в том интересе, который они проявляют к тому, что я выстрадал, чтобы не упомянуть ни малейшей детали.

Правила в нашей тюрьме были чрезвычайно строгими. В восемь часов утра смотрители открыли двери; это был поистине приятный момент, если я могу употребить такое выражение в данной связи; затем они записали наши имена в реестры, но, будучи так мало привычны к подобным вещам, они никогда не вносили список должным образом, и поэтому были вынуждены проводить перекличку два или три раза в день. В один момент они приказали нам оставаться в наших комнатах, а в другой — стоять, как часовые, у наших дверей. Запирание и проверка того, что каждая заключенная находится на своем месте, казалось более торжественным делом. Сторож, сопровождаемый сторожами, жандармами и несколькими большими собаками, пришел около десяти часов вечера или в полночь. Эта приятная компания отпускала приятные шутки и производила много шума. Я всегда притворялся спящим и ничего не отвечал на то, что они говорили. Казалось печальным, что наш сон, который один мог заставить нас забыть о наших бедах, был прерван этим звуком, который быстрее всего напомнил о них.

В первые дни после нашего приезда мы проводили время в основном за отправкой петиций в Фукье-Тенвиль с просьбой воссоединиться с нашими семьями. Впоследствии мы узнали, что ни одно из них не дошло до него. Я с нетерпением искал какую-нибудь возможность отправить или получить сообщения от своих родителей. Наконец я обнаружил, что, посылая какую-нибудь пустячную вещь в Люксембург, я мог бы добавить две или три строчки, которые, по крайней мере, свидетельствовали бы о том, что мы живы. Записки были отправлены вскрытыми и прошли через руки регистраторов и тюремщиков Плесси и Люксембурга. Я очень страдал из-за того, что был вынужден сообщить своим родителям, что у меня не будет утешения присоединиться к ним; они с нежностью выразили свое глубокое сожаление по этому поводу. Вид их почерка, после того как я так долго был лишен его, глубоко тронул меня; каждые два-три дня я получал от них несколько слов.

Комиссар Гранпре, опасаясь, как бы наша теснота не вызвала тошноту, предложил нам подышать свежим воздухом во внутреннем дворе. У нас было большое отвращение спускаться по сотне ступенек, проходить мимо шести решетчатых железных дверей, впереди, в сопровождении и по пятам за надзирателями. Некоторое время мы отказывались это делать. Затем он сказал нам, что, если мы не прислушаемся к его просьбе, нас обвинят в аристократических взглядах; следовательно, мы были вынуждены уступить и отправиться на

прогулку. Место, назначенное для нашей прогулки, было очень тесным, обнесенным дощатым забором и окруженным жандармами, которые не спускали с нас глаз. Мы нашли там около двадцати женщин, пришедших из Консьержери и поселившихся у нас без нашего ведома. После беседы с ними наши страхи удвоились, ибо они рассказали нам самый страшный рассказ об этой ужасной тюрьме, которая была названа антикамерой смерти. Они рассказали нам, что каждый день оттуда отправляли большое количество жертв на эшафот и что наш дом считался чем-то вроде пристройки к Консьержери. Мы были в полном неведении о том, что происходило за пределами наших камер. Мадам де Васси, ученица Ж.-Ж. Руссо и дочь месье де Жирардена, уговорила тюремщика по имени Лоне, лучшего из наших надзирателей, принести ей несколько газет; но это было раскрыто и считалось непростительным преступлением. Его отвезли в другую тюрьму и заковали в кандалы, и, если бы не смерть Робеспьера, он бы погиб. Этот человек, который все еще жив, действительно плакал, когда выводил нас на обязательный проветривание, что скорее походило на вывод своры собак. В любую погоду нас выводили на предписанное время. Если кто-то из нас хотел войти раньше других, нам запрещали это делать, и нас выводили всякий раз, когда этого хотели наши смотрители. Мужчины, которые жили возле лестницы, были вынуждены удалиться, когда мы проходили мимо их решеток; но их окна выходили на пространство, где нам было позволено, или, вернее, приказано, ходить, и там они часто узнавали своих жен и детей — всех тех, кого они любили и о самом существовании которых они не знали.

Теперь в нашем коридоре размещались только заключенные из Шантийи. Среди тех, кто пришел из Консьержери, были мадам де Гримальди и де Бюсси, от которых мы получили полный отчет обо всех ужасах, которые там разыгрывались. Несколько дней спустя мадам де Бюсси была увезена для предъявления обвинения Революционному трибуналу; но ее дело не было возбуждено, и она вернулась в Плесси. Мы как раз поздравляли ее по этому поводу, когда за ней снова послали и повели на эшафот. Едва она ушла, как тюремщики схватили все ее пожитки и попытались продать их нам, — инцидент, который нас сильно потряс. Мы с ужасом отвергли их отвратительное предложение.

Положение дел ухудшалось с каждым днем. К нам приезжали гости из всех отделений; наша тюрьма была ужасно переполнена; лица постоянно менялись. Прибывшие рассказали нам о смерти людей с высочайшей репутацией. Мы спросили смотрителя, но он не дал никаких объяснений доходившим до нас смутным слухам. Я еще раз умоляла его добиться моего воссоединения с родителями, но безрезультатно. На мои искренние просьбы он с сочувствием ответил: "Вы не знаете, о чем просите; вам, конечно, не было бы лучше в Люксембурге". Казалось, он предвидел ужасы, которые должны были там произойти. Увы! Я думал не о строгости тюремных правил, а о стремлениях моего собственного сердца.

Вместо двора, обнесенного дощатым забором, нам выделили сад для прогулок. Однажды, когда я проходил совсем рядом со зданием, в котором мы жили, в сопровождении мадемуазель де Понс и Титон, я увидел, как они подобрали клочок бумаги, выброшенный из вентиляционного отверстия подземного помещения, окно которого они забыли закрыть. На нем было написано несколько строк, которые были почти неразборчивы, но которые мы разобрали как: "Три несчастных существа, совершенно обездоленных, умоляют вас сжалиться". Бумажка была привязана к веревочке, которую вынули. Мадемуазель де Понс, очень взволнованная, сказала своей спутнице: "Возможно ли, чтобы нас окружали такие несчастные существа?" Она попросила моего разрешения подбросить им немного денег, и я дал ей это. Она завернула их в

крошечный сверток и притворилась, что поднимает камень, в то время как мадемуазель Титон позволила ему тихо упасть в подземелье. Мы услышали хлопки в ладоши. Глаза молодых девушек наполнились слезами, и вечер прошел в удовлетворенном чувстве, что им удалось, хотя бы на мгновение, облегчить положение этих страдающих созданий.

Мы так и не узнали, что с ними стало.

Прошел месяц с тех пор, как мы покинули Шантийи, когда прибыла компания, среди которой была мадам де Понс, которой я вернула драгоценную вещь, которую имела счастье сохранить для нее; после этого я осталась в полном распоряжении своей комнаты, которая мне очень понравилась. Мне сообщили, что было предложено отделить подозреваемых от тех, кому предъявлены обвинения Революционным трибуналом, и поместить нас в здании напротив того, которое мы сейчас занимали. Это изменение показалось нам настолько выгодным, что мы убедили вратаря провести его как можно быстрее. Надо отдать ему справедливость, в этом случае он вел себя очень хорошо, используя свое влияние на ужасного Фукье-Тенвиля, чтобы не допустить, чтобы нас приняли за обвиняемых заключенных, и добиться нашего немедленного выдворения. На мгновение я пожалел об утрате прекрасного вида из моей квартиры; все прекрасные здания Парижа были передо мной - собор Сен-Сюльпис, Валь-де-Грас и т.д. Я вспомнил, что в день Пасхи, когда я скорбел при мысли о том, что святая жертва больше не приносится в этих храмах, ставших столь почитаемыми благодаря своей древности, и молитвам верующих, я присоединился к молитвам тех, чья вера была сильна и кто разделял мои печальные мысли, и обнаружил, что я действительно стал более назидательным, чем часто бывало в тот святой день, когда я стоял у подножия алтаря.

Наконец нам приказали покинуть наши квартиры и унести с собой наши пожитки. Одного человека было достаточно, чтобы помочь мне переехать; жалкий тюфяк, соломенный стул и несколько тарелок составляли мою единственную мебель. Момент нашего отъезда был очень тяжелым для тех, кто все еще оставался во власти общественного обвинителя. Некоторые из них плакали, когда мы покидали их. Расставание было окончательным.

Когда я добрался до своей новой тюрьмы, она показалась мне особняком, поскольку в ней было всего две решетки вместо шести, как раньше; а поскольку мужчины были полностью отделены от женщин, нам разрешили обойти все здание сверху донизу без надзирателя. Меня поселили на пятом этаже, в том, что раньше называлось "теплым местом философов". Имена ученых были, как обычно, написаны углем на стенах; я узнал некоторых из них. В этой красивой комнате был камин, и я думаю, что он был единственным в коридоре. Им немедленно воспользовались, чтобы разогреть кофейники всех моих соседей, что вызвало непрерывную процессию, совсем не приятную.

До моего заключения я думал, что тюрьма будет, по крайней мере, местом отдыха, где я мог бы полностью посвятить себя учебе; но это было совсем не так, по крайней мере, не в тех местах, где я находился. Каждую минуту входили смотритель, тюремщики, привратники, поставщики и т.д. Нас заставляли спускаться в контору клерка, чтобы выполнить наши поручения. Я не мог читать ни одного часа без перерыва. Одна вещь, о которой я слышал и которую я, безусловно, подтвердил, - это привычка заключенных быть деструктивными. Это связано с тем, что они нуждаются в тысяче вещей. У меня не было лопаты, поэтому я отломил кусок шифера и использовал его вместо одной; вместо крышки я взял напольную плитку. Достать дрова было

очень трудно, поэтому я сжег свои стулья. Мы не могли отправить сторожа вниз, не заплатив ему сотню су.

Несмотря на восхищение, вызванное моим новым жилищем, я был вынужден вздыхать по тому, которое покинул. Мы спали там, где штукатурка была совсем свежей, отчего у меня так першило в горле, что я не мог проглотить ничего, кроме молока. На лестницах стоял очень неприятный запах масла; все окна, верхние и нижние, были зарешечены, а доски подогнаны так, чтобы невозможно было выбрасывать письма. Внешний вид нашего здания был ужасающим. Из-за нашего переезда мы лишились возможности прогуляться по саду, а вместо этого получили прогулку не лучше, чем во внутреннем дворе Плесси, так что никто не мог решиться выйти на улицу, за исключением случаев, когда было абсолютно необходимо выйти на открытый воздух. Мужчины и женщины приходили туда в разное время. Они были заперты со всех сторон; и стены были возведены так, чтобы заключенные не могли быть замечены своими соседями и не могли подать им никакого знака. Однако один маленький переулок, который невозможно было закрыть от нашего взора, позволил нам увидеть людей, находящихся на свободе или, по крайней мере, считающих себя таковыми. Окна, из которых открывался этот небольшой вид, пользовались большим спросом и всегда были заняты. Люди, интересующиеся заключенными, приходили, чтобы убедиться в нашем существовании. Наша численность увеличивалась с каждым днем, и к нам пришло несколько отвратительных новобранцев. Совсем рядом со мной были вульгарные создания — молодые женщины с улицы Шартр, несколько человек с чесоткой, любовница палача и пьяница, заявившая, что она знатная особа, принадлежащая к семейству Дезармуаз, на которое, во всяком случае, манерами она не имела ни малейшего сходства. Она взяла на себя право каждый день заходить в наши комнаты, поднимать большой шум и выражаться самыми оскорбительными выражениями, за что впоследствии попросила прощения. Я был, конечно, очень тронут ее раскаянием, но ее визиты по-прежнему были мне очень неприятны. Другая моя соседка, придворная дама, была сумасшедшей; и, к несчастью для меня, я ей очень понравилась. Однажды она легла спать прямо у меня на пороге, и увести ее можно было только силой. Забота, которую я был вынужден проявлять о ней, была столь же неприятной, сколь и утомительной, и это было настоящим бедствием. Одной из ее фантазий было написать Робеспьеру. Я полагаю, что ее письма постигла та же участь, что и наши, — они никогда не доходили по назначению. Только две строчки, добавленные к нашим просьбам о необходимых вещах, когда-либо находили одобрение в конторе клерка.

Был установлен обеденный стол, с характером которого мы познакомились в Шантийи. Нас разместили в классе риторики и сгруппировали за столами по двенадцать штук на каждом. У каждого из нас была деревянная ложка, но не было вилки; и нам дали понять, что последняя вещь опасная. Нам также дали деревянную миску, из которой мы ели суп; я сохранил ее как диковинку. Я никогда ею не пользовался. Казалось, были приложены все усилия, чтобы сделать все, что могло вызвать наше отвращение. На столах не было скатертей, и их никогда не мыли; из-за того, что было пролито много вина, запах стоял невыносимый. В еде часто находили волосы; и самым грязным из заключенных приказывали прислуживать нам. Пока мы ужинали, по столовой бегали свиньи. Однажды было вывешено уведомление, в котором говорилось, что необходимо дать нам достаточно только для того, чтобы мы остались в живых.

С ужином было покончено полностью. Мадам де Куртей, де Рошешуар и де Ришелье ели с самыми низшими существами, а мадам и мадемуазель де Понс - с мадемуазель Дервье из Оперы, негритянкой и так называемыми женственными *санкюлотками*.

Мужчины ели в другой столовой. Моим товарищам по столовой было трудно угодить в том, что касалось еды, среди них была дочь одного из конюхов герцога Бурбонского. Такие люди никогда не были довольны. Сторож, однажды разозлившийся из-за того, что они попытались швырнуть тарелки ему в лицо, указал на меня комиссару, который осмотрел нас, как и других моих одноклассниц, и сказал: "Вы можете спросить этих дам; они никогда ни на что не жалуются". Он гораздо больше предпочитал заботиться о нас, чем о простых людях.

Смотрители в Плесси были совсем не похожи на тех, что были в Шантийи, которые были добры, внимательны, услужливы и привязаны к нам. Сотрудники Плесси преследовали нас, чтобы получить деньги, требовали от нас услуг и упрекали, когда у нас было два предмета одежды за то, что мы не отдали им один из них. С ними было очень трудно ладить. Я часто помогал им в качестве секретаря при написании писем их родственникам или составлении заявлений.

Однажды, занимаясь чем-то подобным, с мадам де Лафайет произошла очень забавная вещь. Одна женщина попросила ее составить за нее прошение, что она немедленно и сделала с присущей ей готовностью и добротой. Но поскольку у нее был плохой почерк, она поручила переписать его; и у нее хватило глупости отправить его заключенному, который, будучи добрым патриотом, был возмущен отсутствием в нем цивилизованности и отправил его обратно, стерев некоторые слова и сделав следующие замечания: "Это прошение аристократично; никто никогда не использует подобную фразеологию. Это не цивилизованно; от этого пахнет замком. Этот человек не знает, как составить петицию" и т.д.

Мы много смеялись над суровой критикой, вызванной этим добрым поступком.

Конвой из Ла Форс доставил мадам де Лафайет к нам в Плесси. Авангард состоял из мадам де Рео, которой было восемьдесят четыре года, мадам де Машо и других женщин, которым было по меньшей мере семьдесят. Их, в качестве большой милости, посадили в карету; остальных, по обычаю, привезли в телеге. Прошло много времени, прежде чем их поселили, и нам разрешили к ним приблизиться. Наконец я смогла повидаться с одной из моих кузин, которая нашла правила в этой тюрьме менее суровыми, чем в той, из которой она вышла; и все уличные девушки Парижа, собравшиеся там, представляли собой зрелище настолько неприличное, что такая непорочная особа, как она, едва могла это вынести. Кроме того, она спала в комнате, где было еще четыре человека, которых она не знала; мне удалось снять для нее другую комнату, которая показалась ей довольно роскошной. Она часто рассказывала мне о том чрезвычайном удовольствии, которое испытала, проснувшись и обнаружив себя в одиночестве. Комната была такой маленькой, что она не могла поставить стул между кроватью и стеной; однако, к счастью, там было углубление, куда она с некоторым трудом смогла присесть. Находиться так близко от мадам де Лафайет было очень приятно. Ее добродетели и доброта, которые ничуть не изменились по сравнению с той жизнью, которую она была вынуждена вести в первые годы Революции, возможность открыть ей свое сердце в отношении моей семьи, в связи с моей тревогой за нее, о которой я никогда ни с кем не говорил, принесли мне много пользы; мы вместе оплакивали ее собственную судьбу. Мне показалось, что она была гораздо менее подготовлена, чем я, к общему и частному злу, которое нам угрожало. Она думала, например, что сможет защитить свое дело и дело своего мужа перед Революционным трибуналом и что в опасности находятся только те, кто нанес республике какой-либо серьезный или пустяковый ущерб. Мне потребовалось по меньшей мере две недели, чтобы разъяснить ей этот вопрос и дать возможность осознать свое истинное положение; но, действительно, то, что произошло перед нашими глазами, было красноречивее всего, что я мог сказать.

Число уносимых жертв становилось все больше и больше; обычно они уходили во время нашей прогулки по внутреннему двору. Теперь мне кажется, что я вижу несчастного месье Титона, советника парижского парламента, когда он проходил под окнами комнаты своей жены и дочери, которым даже не разрешили попрощаться с ним в последний раз. Он вышел в пять часов вечера, а на следующий день в полдень был мертв. Повозки и карета Фукье-Тенвиля прибывали в любое время и были переполнены обвиняемыми. Кучер этого человека был вполне достоин такого мастера; пока жертвы садились в повозку, он выбивал танцевальные мелодии, и на нем был костюм Веселого Эндрю. Почти невозможно описать ужас, вызванный открытием великих ворот, особенно когда это повторялось по несколько раз в день. Сейчас я слышу бой барабана. Судебные приставы Революционного трибунала прошли перед фургонами с полными ордерами в руках. Затем наступила минута гробовой тишины. Каждый думал, что роковой приказ пришел за ним; лица были полны ужаса, сердца и умы переполнены страхом. Судебные приставы вышли в коридоры, чтобы позвать тех, кто должен был уйти, и дали им всего четверть часа на подготовку. Каждый пожелал другому вечного прощания; мы были в ошеломленном состоянии, будучи уверены, что проживем только с десяти часов утра до семи часов вечера. Сон был чутким, когда испытываешь такое беспокойство, и часто прерывался прибытием конвоев. Тот, в котором находились знаменитые заключенные из Нантаиса, произвел большую сенсацию. Было принято встречать заключенных с зажженными факелами, и смотритель в сопровождении тюремщиков и больших собак самым грубым образом вытаскивал бедных пленников из повозок. Они так боялись потерять кого-нибудь из заключенных, что два или три раза подряд объявляли список, а затем помещали их в "мышеловку" — новое название для места приема. Не было никаких расчетов относительно того, хватит ли места в доме; место было приготовлено; и нас заверили, что их было столько, сколько тысяча семьсот одновременно в колледжах Плесси и Луи-ле-Гран. Двадцать пять человек были помещены в одну комнату, даже *вантресолях*, с зарешеченными окнами. Жестокость обращения постоянно возрастала. Однажды около трех часов дня я услышал, как мои засовы отлетели, и не мог понять причину; это было необычно. Это произошло из-за того, что слуга выплеснул воду из окна во двор, хотя ему это было запрещено; и за это великое преступление мы были наказаны.

Нам не разрешалось зажигать свет в наших комнатах; это было очень большим лишением. Разместиться перед уличным фонарем было большой удачей. В коридорах были расставлены жаровни, на которых мы разогревали ужин. Те из нас, у кого были камины, поддерживали яркий огонь, чтобы было светло. Кто-нибудь на мгновение зажигал свечу, а в следующую гасил ее, опасаясь наказания. Есть руками было невыносимо. Ходить к тюремщику каждый день и просить его нарезать наш шоколад не было ни забавно, ни удовлетворительно. Я помню большой перочинный нож, принадлежавший мадам Васси, который вызывал у нас восторг. Она была милой женщиной, яркой, интеллигентной и чрезвычайно услужливой. Она сказала, что любит разнообразие. Выйдя из тюрьмы, она вышла замуж за пруссака, который увез ее в Берлин.

18 июня я стал свидетелем душераздирающей сцены. Я был в квартире мадам де Пон, играл с ней в шахматы, когда кто-то пришел и позвал меня; я вышел. Человек, проявивший интерес к дочери мадам де Пон, рассказал мне, что ее отца перевели из частной больницы, где он находился, в Плесси, и что, когда он выходил из фургона, ему вручили обвинительный акт; что он самым искренним образом умолял разрешить ему повидаться с дочерью, но получил отказ, чтобы избежать столь мучительного допроса. Окна квартиры смотрителя выходили прямо во двор, где в то время прогуливалась мадемуазель де Понс; им было приказано закрыться. Г-н де

Понс впал в самое неистовое отчаяние, заявив, что у него отняли самое драгоценное сокровище, которое у него было в мире. Мы не знали, как вывести его дочь со двора, не вызвав у нее подозрений. Хали заставила ее заподозрить, что что-то происходит, запретив ей подходить к окнам в связи с прибытием новых заключенных. Я придумал какой-то предлог, чтобы убедить ее зайти в наш дом с одним из моих друзей, и последний отвел ее в место, находящееся совсем далеко от ее несчастного отца. Затем я вернулся в комнату мадам де Понс, и по перемене в моем лице она поняла, что что-то случилось. Я ничего не сказал, но снова начал играть в шахматы, чтобы выиграть время и подготовить ее к этому. Состояние дел между ней и ее мужем сделало это менее ужасным для нее, чем для ее дочери. Она убедила меня рассказать ей о причине моего волнения. Поскольку господин де Понс долгое время болел чахоткой, я сказал ей, что он при смерти. Она умоляла меня не говорить об этом ее дочери, и я пообещал. За этим несчастным человеком послали в Консьержери только в девять часов вечера, и, следовательно, он провел в одном здании со своей дочерью пять часов, не имея возможности взять ее на руки, утешить или попрощаться с ней в последний раз. Все это время он пытался угрозами и молитвами пробудить сострадание и интерес хранительницы, рассказывая ему о ее молодости, о своей привязанности к ней и о том, что его последней молитвой было о том, чтобы для нее уготованы более счастливые дни. Он бросил прощальный взгляд во двор, а затем его увели. Я провела вечер в крайней тревоге и волнении; хотя я знала месье де Понса совсем немного, мысль о том, что в свои последние мучительные часы он не смог увидеть свою дочь и благословить ее, и горе, которое, я знала, она испытает, все это заставило меня провести ужасную ночь. С тех пор молодая девушка сказала мне, что она подозревала, что от нее скрывали что-то печальное из-за смущения в нашем обращении с ней. На следующий день она, как обычно, пришла ко мне домой, чтобы расчесать мои жидкие седые волосы, и я едва мог сдержать свои чувства, одеваясь, когда вспомнил, что ее отец в этот самый момент предстает перед трибуналом или поднимается на эшафот. Она немедленно ушла. Мадам де Понс попросила меня рассказать ей всю правду, и я так и сделал. Она послала за новостями о суде над своим мужем и узнала, что он, а также месье де Лаваль, де Роган-Субиз, де Монтеррей и пятьдесят других были приговорены к смертной казни как заговорщики против Робеспьера и должны были быть казнены в Гreve в красных рубашках, хотя по закону их должны были носить только убийцы. Похоже, что для того, чтобы сделать этот так называемый заговор более заметным, были использованы самые знаменитые имена старого режима, и что на самом деле те, кто носил их, никогда не думали о заговоре.

Весь день принимались меры, чтобы усилить беспокойство мадемуазель де Понс из-за болезни ее отца, поскольку она знала, что он в большой опасности, и опасалась приближения его конца. В одном из своих тюремных мемуаров, из которых было напечатано несколько экземпляров, она говорит, что я попросил разрешения у ее матери сообщить ей о смерти ее отца. Она не знала, что, напротив, именно мадам де Понс горячо умоляла меня взять на себя обязательство сообщить ей об этом, и что я долгое время отказывался. Наконец она привела мне несколько очень веских причин для этого, и я согласился. Мадемуазель де Понс, в присутствии которой я больше не скрывал своего волнения, заподозрила свое несчастье. Она спросила меня; я ничего не ответил, но обнял ее и разрыдался.

Нас постигло еще одно бедствие - разразилась оспа. Мадам де Рео, восьмидесяти четырех лет, умерла от этого; и единственный сын тоже умер почти на глазах у своих отца и матери, которым было жестоко отказано в разрешении отправиться в другую тюрьму, чтобы поплакать над своим несчастным ребенком. Они выпили свою чашу до дна. Две очень старые леди по фамилии Машо

также были поражены этой ужасной болезнью, которой, естественно, очень боялись все те, кто ею не болел. К счастью, инфекция не распространилась, что было необычно в месте, где скопилось так много людей. Кроме того, обращение с больными было ужасным. Ни за какие деньги нельзя было достать для них лекарство или даже чашку чая. Я видел, как умерла очень сильная женщина, которую можно было вылечить без особого ухода. Потребовалось два дня переговоров, чтобы получить разрешение принести в дом грелку. Тюремным хирургом был поляк по фамилии Маркоски, приехавший в Париж изучать медицину, в которой он был совершенно несведущ. Мне нужно было пустить кровь; он обнаружил, что это трудно сделать с моей рукой. Я позволил ему попробовать мою ногу, и ему это удалось. Я простил ему недостаток навыков и невежество из-за его доброты сердца. Он был действительно любезен; он сообщил нам новости о наших знакомых, которые были заключены в другие арестные дома. И он был особенно добр ко мне, потому что я рассказал ему о больных, и потому что, поскольку я знал несколько медицинских фраз, я избавил его от хлопот по оформлению справок о болезни для лиц, которые надеялись таким образом избежать близкого заключения; ему нужно было только подписать то, что я написал. Однажды, когда я чувствовал себя очень плохо, я сказал себе: "Было бы так сладко умереть в своей постели". Какое это ужасное состояние, когда человек радуется болезни, которая может принести смерть!

Я не стал рассказывать об одном очень нелепом инциденте. За день до Праздника Высшего Существа^[4] всех заключенных спустили во внутренний двор, который, как мы обнаружили, был завален огромным количеством веток и листьев. Несколько минут я делал вид, что работаю над ними, а затем удалился в свою комнату; несколько наших несчастных товарищей усердно трудились и даже предложили установить посреди двора столб свободы. Смотритель, менее абсурдный, чем они, запретил это, сказав, что такое украшение не подошло бы тюрьме. Они танцевали во дворе; тюремщики присутствовали на этом странном празднестве — это был день Пятидесятницы, в который Робеспьер разрешал поклоняться Богу при условии, что Его не будут называть этим именем. Один из них очень похвалил меня (он был не очень плох) и сказал, что, по его мнению, я буду вести себя очень хорошо, идя на гильотину; я хладнокровно ответил ему, что надеюсь, что так и будет. Другой хвастался быстротой, с которой Революционный трибунал завершил свои судебные процессы; и он добавил, что для того, чтобы все исправить, необходимо было бы отрубить семь тысяч голов. Однажды, когда я сидел один в своей комнате, вошли два жандарма; я подумал, что наступил последний момент моей жизни. Они расспрашивали меня о моем отце и братьях; и по мере того, как разговор продвигался, я надеялся, что простое любопытство увидеть человека моего положения, обреченного на эшафот, привлекло их. Они ушли, и я испытал большое облегчение от их ухода. Некоторое время спустя женщина, имевшая внешность женщины с дурной славой, пришла сказать мне, что смотритель приказал ей поселиться в моей комнате и что она немедленно принесет свою кровать. На мгновение я почувствовал крайнее раздражение, но сдержался. Я сказал ей, что выйду из комнаты, и она может оставить все это в своем распоряжении. Женщины и молодые девушки, которые были бедны, занялись спекуляцией, которая теперь показалась мне полезной: они завладели очень маленькими камерами и за деньги сдавали их другим людям, находя какой-нибудь способ уютиться в другом месте. Я подумал о том, что один из них занимает дочь конюха принца Конде, и она уступила мне его за *ассигнациями*луидор; она очень хвасталась своей добротой ко мне, и действительно, это было очень удачно для меня. Я очень сожалел о своем камине из-за его удобства для моих соседей; более того, разжигать огонь в открытых жаровнях в таком узком пространстве было неудобно и опасно, хотя в данных

обстоятельствах это было абсолютно необходимо. Мое новое жилище имело одно преимущество перед жильем мадам де Лафайет: я могла поставить стул между своей кроватью и стеной. Я мог, не вставая, приподнять щеколду на двери и даже выглянуть во двор. Моя тюремная жизнь научила меня, что даже самая маленькая власть драгоценна. Трудность добывания света и костра позволила мне добиться успеха в чирканье стали. Я тщательно скрывал обладание этим сокровищем, опасаясь, что оно может быть расценено как опасное оружие в революционном арсенале. Сторож, узнав, что его имя было использовано для того, чтобы выставить меня из моей квартиры, пришел сказать мне, что он не имел никакого отношения к этому предприятию, и попросил меня донести на женщину, которая это затеяла. Я ответил, что испытываю такой ужас перед доносами, что не назову ее имени. Затем он предложил мне вернуться в свою комнату, но я отказался это сделать; тюрьма была настолько переполнена, что я опасался, что буду вынужден принять в нее кого-нибудь. Из разных департаментов постоянно прибывали автоколонны. В одной из них было восемьдесят крестьянских женщин из Виваре, одетых в очень необычные костюмы. Мы спросили их о причине их ареста; они объяснили нам на своем наречии, что это из-за того, что они ходили к мессе. Это было сочтено настолько чудовищным преступлением, что их поместили в здание трибунала, которое наши остряки называли лавкой Фулье. К нам в тюрьму приехали несколько дам из Нормандии. Они казались деревенскими, хотя и не носили местных костюмов; они проводили время с утра до ночи за написанием мемуаров и петиций — очень опасная привычка во времена террора, которая, вероятно, приближала смертный час.

Я получил письмо от моего отца, от которого у меня защемило сердце. Я всегда ждал его писем и читал их с глубоким волнением. Он рассказал мне, что мадам Латур, которая была их единственным утешением, которая облегчала бремя их старости, только что у них отняли; что ее вынудили покинуть тюрьму, несмотря на все усилия, которые она прилагала, чтобы остаться или получить разрешение вернуться. Она умоляла о тюремном заключении так же искренне, как обычно умоляют о свободе.

Все это причинило мне большое горе. Я острее, чем когда-либо, почувствовала, как сильно мои родители нуждаются во мне, и снова отправила заявления о разрешении поехать к ним; они оказались безрезультатными. К счастью, с ними была моя невестка, жена Луи, виконта де Ноай, которую они ценили по заслугам; но поскольку она была вынуждена заботиться о мадам д'Айен, своей матери, и мадам Маршаль де Ноай, своей бабушке, которые жили у нее, она мало что могла сделать для моих родителей. В результате они остались совершенно одни, моему отцу тогда было восемьдесят, а матери шестьдесят.^[5] Их жалкое положение постоянно стояло у меня перед глазами. Однажды, когда я был сильно занят мыслями о них, я услышал сильный шум во дворе; я выглянул и увидел входящую колонну из ста четырнадцати человек из Нейи-сюр-Сен. Они были вынуждены пройти мимо лагеря последователей Робеспьера, которые выкрикивали в их адрес ужасные угрозы. Поскольку они не получали приказа убивать заключенных, они ограничились тем, что ошеломили их угрозами и оскорблениями. Конвой состоял из множества дворян, обосновавшихся в деревне Нейи благодаря *паспортным документам*. (Указ обязал всех дворян, которые не были заключены в тюрьму в Париже, удалиться на несколько лье от города.) Самым странным, что произошло в такое время, было то, что некоторые люди, не принадлежавшие к благородному роду, но желавшие, чтобы их считали таковыми, подчинились этому указу, который вообще не имел к ним никакого отношения. Слуги знати были арестованы вместе с ними; и с ними были также люди разного положения, среди них шесть монахинь Ордена Посещения, одной из которых была мадам де Крои, сестра мадам де Турзель. Все эти

несчастные создания были оставлены на целый день в "мышеловке". Я узнал, что мадам де Шуазель, их мать, мадам Ипполит де Шуазель и мадам де Серент также были в компании. Вся компания была подвергнута строжайшему обыску. Наконец, в семь часов вечера их развели по квартирам. Монахинь, к их ужасу, поселили на шестом этаже вместе с двадцатью пятью людьми; и чтобы сделать их еще более несчастными, их поместили с самыми низменными созданиями. Все члены этого конвоя сильно страдали от голода. Мы дали им, что могли. Я помню, что приготовила для мадам де Шуазель панадо, которое они сочли восхитительным. Хлеб и вино - это обычно все, что разрешалось предлагать вновь прибывшим. Это мельчайшая деталь, призванная показать нищету, царившую в нашей тюрьме. Я видел бедных женщин, привезенных из пригородов Парижа, которые спали на столах в трапезной. Самое большое внимание, которое мы могли оказать людям, - это уступить им наши матрасы, пока они ждали свои.

Все те, кто составлял конвой из Нейи, хотя и едва устроились по квартирам, были очень близки к тому, чтобы быть отправленными в Консьержери, чтобы погибнуть на следующий день. Около полуночи я услышал шум экипажей, что было не редкостью, поскольку спал я чутко. Меланхолическое любопытство, вызванное страхом, побудило меня подняться и посмотреть, что происходит.

При свете множества факелов я увидел огромное количество жандармов и судебных приставов, и в тот же момент в нашем коридоре послышался ужасный шум. Громкие голоса кричали: "Пусть все, кто принадлежит к конвою из Нейи, готовятся к отъезду". Я вся дрожала и вышла на улицу, чтобы навестить своих соседей, которые, не привыкшие к порядкам в доме, были совершенно спокойны, так как сказали, что это всего лишь переезд. Я не помню, сказал ли я им о судьбе, которая немедленно угрожала им, чтобы они могли подготовиться к ней, или я оставил их в неведении об их предсмертном призыве. Некоторое время они оставались в напряжении; затем пришли тюремщики и сказали, что произошла ошибка. Позже мы узнали, что в ту ночь они попали в Плесси по ошибке. Палачи не оставили свои фургоны пустыми, а отправились в другую тюрьму, чтобы заполнить их. Необходимо было принимать определенное количество жертв каждый день, за исключением нашей тюрьмы, где их количество варьировалось. Я знал, что за один день от нас было отправлено до шестидесяти четырех человек.

Одна вещь кажется почти невероятной, если не быть свидетелем этого: это то, что постоянно можно было слышать, как заключенные играют на разных инструментах и хором поют республиканские песни; и еще, что можно было видеть женщин, заботящихся о своей одежде и даже кокетливых, в то время как, помимо гильотины, им угрожала смерть в огне и воде. Мы слышали, что нас должны были расстрелять, как лионцев, у стены, которая была недавно возведена в нашем дворе и, как говорили, предназначалась для этой цели. В дополнение к этим слухам, пожар в библиотеке аббатства Сен-Жермен, который мы видели очень ясно, а также взрыв журнала в Гренеле доставили нам много беспокойства. Что касается меня самого, то я уверен, что эти два события мало взволновали меня; но я был ужасно встревожен из-за тех, кто был мне дорог. Прогулка на свежем воздухе, необходимая для нашего существования, стала почти невыносимой. Однажды, когда я был на улице, я увидел, как несколько человек спешили, приехав из Ангуа. Было около шести часов вечера; имя одной из них, пожилой дамы по фамилии Де Бурсак, напомнило мне двух королевских конюших, носивших то же имя, и я сообщил ей кое-какие сведения о них, которые, по-видимому, доставили ей большое удовольствие. Она сказала мне, что это были ее дети и что с ней были еще двое. Мой первый

разговор был последним прощанием, потому что на следующий день ее казнили вместе с ними. В моду вошел предлог о заговорах для того, чтобы вызвать смерть огромного количества людей разных классов одновременно. Иногда я утешал себя надеждой, что преклонный возраст моих родителей и их добродетели спасут их, а я только погибну; ибо из всех полученных мною отказов я ясно видел, что мне придется полностью отказаться от счастья присоединиться к ним. Это было для меня величайшим возможным горем, но каждый день приносил другие. Я никогда не смог бы стойко переносить свое положение, если бы полностью не покорился воле Божьей. Благотворительность, к которой нас так часто призывали, помогла отвлечь наши умы. Однажды, например, я встретил бедную женщину, которая прибыла сюда, измученная своим долгим, мучительным путешествием, кстати, спав только в зараженных тюрьмах. Тюремщик, чтобы заставить ее подняться в свою квартиру, которая находилась очень высоко, разговаривал с ней в самых оскорбительных выражениях и даже пинал ее, чтобы вывести из прострации, охватившей ее, когда она поднималась по лестнице. Я умолял этого жестокого гражданина не обращаться с ней как с вьючным животным, а передать ее на мое попечение. Мне стоило больших трудов добиться от него этой милости, но с помощью одного из моих товарищей мне удалось увести ее у варвара. Я думаю, это была мадам де Ришелье.

Мадам де Рошешуар, ее мать, была исключительным примером хорошо установленного факта, что тюремная жизнь вылечила нескольких очень тяжелых инвалидов. Когда ее арестовали в Куртейе, она так постоянно харкала кровью, что считалось, что она никогда не доберется до Парижа. По прибытии в Плесси ее здоровье значительно улучшилось, хотя она жила в комнате, где штукатурка была еще свежей, без огня и открытой любому ветру. Я полагаю, что именно строгая диета, навязанная нам плохой пищей, произвела этот счастливый эффект. Человек ел только то, что было просто необходимо для поддержания жизни. Ум был настолько возбужден, что тело почувствовало последствия напряжения. Я помню, что однажды ночью я был так голоден, что встал, чтобы купить немного шоколада, удивляясь, что физическая потребность может отвлечь меня от грустных мыслей, которые одолевают меня, когда я бодрствую. Однажды я заговорил на эту тему с мадам де Лафайет, сказав ей, что не могу понять, как, будучи постоянно занятыми мыслями о смерти и постоянно имея ее перед глазами, мы можем заготовить на следующий день все необходимое для сохранения наших жизней. Когда мы были в трапезной, нам сообщили, что бедная женщина выбросилась из единственного окна без решетки во всем доме и что она умирает во дворе; несомненно, отчаяние толкнуло ее на этот безрассудный поступок. Я подбежал к тому месту, куда они отнесли ее, и нашел ее раздавленной и без признаков сознания. Сторож был вне себя, опасаясь, как бы этот несчастный случай не скомпрометировал его, и ему и в голову не пришло что-либо сделать для несчастного существа. Я умолял его, поскольку наш хирург совершал обход и жил на большом расстоянии, послать за одним из врачей, которые были заключены в здании, использовавшемся в качестве суда. Он удовлетворил мою просьбу очень неохотно; и офицеров из больницы с трудом удалось уговорить прийти навестить раненую женщину, поскольку они сказали, что оказывать ей помощь - обязанность хирурга этого учреждения. Они обнаружили, что у нее нет денег, и не предприняли никаких попыток что-либо для нее сделать. Меня это чрезвычайно разозлило. Мои товарищи по несчастью разделяли мое желание оказать хоть какую-то помощь. Я вхожу в эти подробности только для того, чтобы показать, что добрые дела были единственным отвлечением от наших собственных страданий.

Я всегда ждал с нетерпением, смешанным со страхом, записок, которые приходили ко мне из Люксембурга. Я получил одну утром 26 июня. Мой отец написал мне (я расшифровываю

записку): "Твоя мать страдает от сильного несварения желудка, вызванного употреблением салата, который является единственным, что у нее есть на ужин; сначала я угощал ее сам, а потом наши соседи оказывали ей всевозможные услуги. У нас здесь среди заключенных есть хороший врач; он дал ей две крупинки рвотного средства, которое принесло ей много пользы. Завтра она сможет принимать жидкость, и ее состояние быстро улучшается. Ты получишь от нее весточку завтра. Наша самая нежная любовь и поцелуи, моя дорогая дочь".

При чтении этого у меня защемило сердце; я подумала о своей матери, страдающей от чего-то вроде апоплексического удара, об отце с разбитым сердцем, в то время как я была совершенно бессильна помочь им. Я провел весь день и ночь в сильном волнении, и, казалось, прошло так много времени до восхода солнца! Я спустился вниз и отправил сообщение за сообщением клерку. Наконец, когда время, когда мы обычно получали письма, прошло, а я так и не получила ни одного, поскольку у очень многих наших заключенных были мужья в Люксембургской тюрьме, я пошла узнать, получили ли они свои письма; некоторые сказали "нет", другие проявили своего рода смущение, похожее на сострадание. Я был поражен этим, и подозрение о бедствии, которое мне угрожало, немедленно промелькнуло у меня в голове. Я говорил об этом весь вечер с мадам де Лафайет и другими лицами. Выражение их ужаса подтвердило мои подозрения. Я сказал им с крайним волнением: "Сегодня вы скрываете от меня то, что я узнаю завтра. Я знаю, что вы хотите от меня скрыть. Мой кузен, ты должен сообщить мне ужасную новость".

Соответственно, она вошла в мою комнату ранним утром, и я больше не сомневался в том, в чем заключалось мое несчастье. Я прочитал всю историю по ее лицу. Она не сообщила мне о смерти обоих сразу; она подождала некоторое время, прежде чем рассказать мне о другом. Я никогда не смогу выразить то горе, которое я испытал, — ужас от мысли о такой добродетели, совершенном милосердии и чести на эшафоте! Доброта моих родителей ко мне, их нежность, огромная сила их примеров, уроки, которые они преподали мне, — все это пришло мне на ум. Рыдания душили меня. Это было за день до поста святого Петра. Я строго соблюдал его, глотая только слезы; невозможно описать, что чувствуешь при таких обстоятельствах. Я не смог узнать никаких подробностей, кроме того, что они были обезглавлены как заговорщики. Я не спускался по лестнице несколько дней, и прошло некоторое время, прежде чем я вышел погулять во двор. Мои соседи оказывали мне всяческое внимание. С тех пор мысль о смерти постоянно стояла передо мной, все напоминало мне о ней; и это, возможно, смягчало неистовство моего горя. Одним из первых моих визитов был визит к даме, которая в один и тот же день потеряла своего мужа и единственного сына, шестнадцатилетнего юношу. Мне сказали, что, возможно, я смогу утешить ее, и я постарался сделать это так хорошо, как только мог. Я постоянно повторял молитвы за умирающих за других и за себя; я повторял их так часто, что знал их наизусть. Мне было жаль заканчивать свою жизнь без духовной помощи. Это было тем более печально, что в нашем доме было двести священников; но им было категорически запрещено поддерживать с нами какое-либо общение. Некоторые люди были в отчаянии по этому поводу. Я сказал им, что, когда исповедаться невозможно, человек должен пожертвовать своей жизнью и привести себя в совершенное раскаяние, и тогда он получит прощение. Я не был сильно встревожен, потому что чувствовал себя полностью покоровшимся воле Божьей.

Три крестьянки из Берри, которые спали сразу за моей кроватью, получили свои обвинительные заключения как раз перед тем, как лечь спать. Один из них плюнул на плащ патриота; другой наступил на подлокотник упавшей статуи Свободы; я не знаю, в чем преступление третьего. Они

были в ужасном состоянии всю ночь. Их рыдания совсем не давали мне спать. Я встал и попытался ободрить их и увещевать подчиниться воле Провидения. Через некоторое время они успокоились, предстали перед трибуналом и были оправданы. Это было сделано с целью создать видимость того, что решения были вынесены с некоторой справедливостью.

Эти мнимые заговоры множились ужасающим образом. После Люксембургского заговора один был изобретен в Сен-Лазаре, а другой - в Бисетре. Жертвы, собранные в последней упомянутой тюрьме в качестве *отделения*, были доставлены в нашу тюрьму и содержались там двадцать четыре часа. Конвой сопровождали сорок вооруженных пистолетами жандармов. Священников было довольно много. Эти несчастные были скованы цепями по двое и по трое, как дикие звери; большинство из них держали в руках свои требники. Всех их отправили спать в подземелье, а на следующий день всех по одному отвезли в Консьержери. Есть даже сомнения в том, были ли они когда-либо осуждены до обезглавливания. Я не могу объяснить то варварское любопытство, которое побудило нас подойти к окнам и посмотреть, как подъезжают и отъезжают эти странствующие катафалки. Однажды я заметил кое-кому из моих товарищей, что при старом режиме нам следовало бы пройти долгий путь, чтобы избежать встречи с преступником, которого собирались повесить, а теперь мы пристально смотрели на каждую невинную жертву. Я думаю, что мы несколько ожесточились от постоянного контакта с теми, кто был таким. Знаменитый Осселен, автор всех декретов против *эмигрантов*, был в отряде из Бисетра; у него под пальто был спрятан кинжал, которым он несколько раз ранил себя в ту ночь, которую провел в Плесси. Эти раны были перевязаны настолько хорошо, насколько это было возможно, и его доставили в трибунал на носилках. На следующий день он был гильотинирован. Вид страданий этого человека, каким бы преступником он ни был, внушил мне неопиcуемый ужас. Его буквально изрезали на куски.

22 июля по тюрьме разнесся слух, что некоторые дамы из дома Ноай были осуждены. Я не говорил об этом мадам де Лафайет, но тщетно пытался узнать правду об этом сообщении. Однако вскоре после этого я прочитал в газете, что мадам маршал де Ноай и мадам герцогиня д'Айен были гильотинированы. О моей дорогой младшей невестке ничего не было сказано.^[6] Сложность получения новостей извне была чрезвычайно велика. Слуги Царства террора дрожали даже за себя. Когда я спрашивал их, они отвечали неопределенно. Я больше не сомневался в истинности этого нового бедствия, но мне хотелось убедиться в нем, прежде чем сообщать о нем мадам де Лафайет, чьи опасения я тщетно пытался пробудить и которая всегда надеялась на лучшее. Наконец я заплатил тюремщику, чтобы тот добился для меня подтверждения того, чего я опасался.

Это было печалью для меня все то время, пока я скрывала это от своего двоюродного брата, и мой дух был сокрушен. Я любила виконтессу де Ноай как дочь и подругу. Она обладала всеми возможными добродетелями и обаянием и была членом моей семьи, которого я больше всего любил и которому доверял.

Обнаружить, что я потерял пятерых членов своей семьи за столь короткий промежуток времени, казалось почти невероятным. И как я могла сказать мадам де Лафайет, что у нее больше нет матери, или бабушки, или сестры! Наконец она осознала смущение тех, кого расспрашивала. Она спросила меня о причине, и я ответил ей потоком слез. Это была печальная услуга, которую я оказал в ответ на то, что она сделала для меня при тех же обстоятельствах. Она осознала смерть своего родителя, бабушки и дедушки, но ее нельзя было убедить в смерти сестры-

ангела, которую она обожала. Я разделял все ее горе, и наши сердца обливались кровью друг за друга. Ее положение было ужасным и вновь пробудило во мне все еще свежее горе. Мы часто говорили вместе о наших почитаемых родителях; и только несчастья, произошедшие более недавно, чем наши собственные, вывели нас из оцепенения, что побудило нас утешить тех, кто от них страдал. Непременная обязанность по приготовлению пищи - настоящее, хотя и жалкое, развлечение, когда болит сердце.

Теперь нам угрожали домашним арестом; смотритель, который был очень добр ко мне, посоветовал мне убрать свои религиозные книги туда, где их никто не увидит. Я тщательно спрятал их, а также свои *ассигнации*, несколько из которых все еще оставались, между балками наших камер. Это посещение не состоялось. Однажды ночью (я точно не помню дату) Я услышал сильный топот лошадиных копыт; большие ворота открывались и закрывались каждую минуту, и всадники въезжали и выезжали. На рассвете я обнаружил, что двор заполнен жандармами. Они ушли, ничего не предприняв, и я так и не узнал, зачем они пришли.

У меня было кое-какое дело к Хали, и после мы поговорили о том, что происходит; и он сообщил мне, что вскоре все лица моего ранга будут обезглавлены. Я понял, что жить мне осталось совсем недолго, и извлек пользу из этого разговора. Я строго следил за собой и молился Богу поддержать мое мужество — молитва, которая была мне полностью дарована.

Я не считал нужным обрушивать на своих спутников тяжесть своих горестей и страхов. Некоторые из них вводили себя в заблуждение, как это делают некоторые больные во время эпидемий, хотя болезнь уже поразила их, говоря: "У того, кто только что умер, было кровотечение, у меня - нет. Другой жаловался на боль в спине; я ничего подобного не чувствовал". Точно так же было и с заключенными; они говорили друг другу: "Те, кто был обезглавлен, состояли в переписке с *эмигрантами*, они были аристократами, при них были найдены деньги" и т.д. Они пытались убедить себя, что не относятся к категории тех, кого каждый день осуждают. Я взглянул на ситуацию в другом свете; мне казалось невозможным, чтобы кто-нибудь из нашего класса сбежал, если царство террора продолжится. Я был уверен, что меня постигнет та же участь, что и моих родителей; я стремился подражать их смирению и почтить их память смертью, достойной их. Я думал, что это ужасное кресло^[7] было удостоено чести многими добродетельными людьми, которые его занимали. Каждый вечер, ложась спать, я повторял свое *In manus*. Я договорился о распределении всего моего небольшого запаса мебели между моими товарищами. Я постоянно стремился прощать обиды. Мои родители, которые были достойны восхищения в этом отношении, были для меня образцами. Как это прекрасно, как по-христиански, как поистине достойно подражания - не испытывать неприязни к тем, кто, осыпав нас оскорблениями, ведет нас к гробнице столь жестоким образом! Только следуя учению Евангелия во всех отношениях, человек может быть способен заниматься столь совершенной благотворительностью.

Мне оставалось принести еще одну жертву, самую печальную из всех: это было то, что я больше никогда не увижу своего сына. Я никогда не смогу выразить, что я чувствовал тогда, или каких усилий мне стоило смириться с этим. Я верил, что Бог простит меня, и пребывал в настолько умиротворенном состоянии духа, насколько можно было ожидать при таких жестоких обстоятельствах. Я решил, что, когда меня вызовут в трибунал, я не буду отвечать на вопросы незаконных судей, но после того, как мне зачитают приговор, я скажу: "Вы осуждаете невиновного человека; как христианин, я прощаю вас, но Бог возмездия будет судить вас".

Мне было грустно думать, что мне не суждено умереть за веру. Ах! как восхитительно, когда человек обнаруживает приближение своего последнего часа, быть уверенным в обладании венцом славы и проживании в той стране, о которой святой Августин говорит, что "Истина - это Король, Милосердие - Закон, а Продолжительность - Вечность". Мысль о том, что мне суждено умереть только из-за неистребимого пятна аристократизма, была мне невыразимо неприятна.

8-го термидора, 27 июля 1794 года, ближе к вечеру мы ощутили крайнюю степень обычной ужасной бдительности. Заключенным не разрешалось выходить во двор; решетки были закрыты. Человек испытывал бы беспокойство при любых обстоятельствах; но когда каждый день ожидаешь своей участи, у него нет другого страха. Однако я все еще очень боялся быть убитым по частям, как это было сделано 2 сентября, пиками, штыками и подобным адским оружием. Я спал как обычно, а на следующий день, 9 термидора, слышались пушечные выстрелы. Смотритель и тюремщица были в состоянии сильного возбуждения; их глаза выглядели изможденными, а лица опущенными. Мы ничего не знали о том, что происходило, но предположили, что это должно быть что-то ужасное. В тот вечер их лица казались более человеческими, и прошел слух о смерти Робеспьера.

На следующий день, 10-го, жители домов, примыкающих к Плесси, показывали из своих окон знаки удовлетворения. Наши зрители выглядели более безмятежными. Мы слышали крики радости и хлопки в ладоши во дворе; человек по имени Лафон, который провел в тесном заключении пять месяцев и о самом существовании которого мы ничего не знали, был выпущен на свободу. Для нас это был рассвет менее ужасных дней. Мы впервые поверили, что, возможно, нас освободят из нашей могилы. 11-го числа служанка мадам Ровер была освобождена. В тот момент, когда заключенный приближался к решетке, крики "Свобода" разносились по тюрьме; и это слово звучало очень сладко для наших ушей. Я не мог представить, что происходило снаружи. Мы узнали, что знаменитые террористы продолжали руководить Съездом, что ужасный Колло д'Эрбуа, из-за которого нас посадили в тюрьму, был одним из них, и это заставило меня подумать, что люди нашего класса в обществе все еще будут сидеть в тюрьме. Мысль о смерти не покидала ни меня, ни моих спутников. Мадам де Понс очень хотела уехать из Плесси; она получила разрешение лечь в частную больницу. (Частные больницы были тюрьмами, где заключенных лучше всего размещали и кормили.) Было предложено, чтобы я подал такое же прошение; но я отказался сделать это по двум причинам: во-первых, потому что я не хотел действовать вопреки воле Провидения, которое поместило меня в Плесси; и во-вторых, потому что жить в частных больницах было очень дорого.

Теперь мужчинам разрешалось гулять во дворе вместе с женщинами; мне это было противно. Легко представить себе неприятность такого смешения гусаров, шпионов, уличных женщин и девиц. Я посоветовал добрым монахиням не появляться. Это было ужасное зрелище для любого порядочного человека, тем более для святой кармелиты. Я предоставил свою комнату этим добрым женщинам, чтобы они могли спокойно помолиться. Одна из них сказала мне, что не выносит языка вульгарных созданий, которые поселились у нее; я сказал ей, что ее единственный выход - заткнуть уши, поскольку она не может изменить их разговор. Другая совсем сошла с ума, потому что ее не освободили. Один из ее товарищей пришел за мной, чтобы успокоить ее. Я пошел к ней и взялся обращаться с ней так, как если бы она была больна, уговорил ее что-нибудь выпить и утешил надеждой на свободу, и через некоторое время она успокоилась. Видеть ее было ужасно.

Поскольку число людей, выпущенных на свободу, увеличивалось с каждым днем, мы начали надеяться на побег из наших решеток, которые до этого времени мы ожидали увидеть открытыми только для нас, чтобы пройти на эшафот. Женщины из низших сословий пользовались благосклонностью в первую очередь, и прошло шесть месяцев, прежде чем кто-либо осмелился сказать хоть слово в защиту кого-либо из знати. Я почувствовал настоящее удовлетворение, когда увидел, что месье Лежандр, регистратор Муши, выходит. Каждый раз, когда я видел его, я говорил себе: "Он - одна из жертв нашей семьи", и из-за этого у меня разрывалось сердце.

Наше уединение было настолько строгим, что, когда я встретила в коридоре двух мужчин (мужчинам никогда не разрешалось входить в здание, предназначенное для женщин), это меня сильно удивило. Они казались любопытными и задавали вопросы. Я навел справки об этих новых людях, и мне сказали, что они были прикреплены к Комитету общей безопасности и имели там значительное влияние. Один из них спросил меня, принадлежу ли я к дворянству; я ответил, что принадлежу. Один из моих товарищей упрекнул меня за это, сочтя это неосторожностью. Я сказал ей, что никогда не скрывал правды, и, кроме того, это было бы совершенно бесполезно. Эти люди возвращались в течение нескольких следующих дней; они выказывали желание завоевать доверие заключенных, чтобы вмешиваться в их дела. Те, кого выпустили на свободу, теперь часто принадлежали к высшему классу. Среди них были священники, солдаты и землевладельцы. На их местах у нас были очень жалкие новобранцы — несколько террористов и легион шпионов. Судьи Революционного трибунала снова пришли к секретарю нашей тюрьмы, чтобы справиться с обвиняемыми заключенными, которым было разрешено пойти и посоветоваться со своим защитником. Что касается нас, то, будучи всего лишь подозреваемыми, мы не имели на это права; но мы притворились, что имеем, чтобы услышать что-нибудь от тех, кто был нам дорог. Первым человеком, который пришел навестить меня, была мадам де ла Мотт; и первым, кому удалось прислать мне письмо в этот все еще самый опасный период, была виконтесса де Дюрфор. Она предложила мне свою помощь и деньги. Я никогда не забуду этой великой доброты. Мадам де Гримальди, сестра ее матери, которая была с нами в тот день, когда она отправилась в трибунал, увидела мадемуазель де Понс, когда та садилась в фургон Фукье; она пожала ей руку, прощаясь, и сказала: "Я довольна; мои неприятности скоро закончатся".

Месье Ноэль справился обо мне в конторе клерка, и я была очень рада возможности выразить ему свою благодарность за те доказательства любви, которые он оказал моим родителям. Он предложил подать прошение об освобождении меня. Я отказался позволить ему сделать это, сославшись в качестве своего возражения на то, что я прочитал в одной из газет донос на Лекуантра из Версаля, опубликованный Конвентом в связи с тем, что он добился освобождения мадам д'Адемар из Ла-Бурб (монастырь Порт-Руаяль на улице ла-Бурб был преобразован в тюрьму под соответствующим названием Порт-Либр), что заставило меня опасаться скомпрометировать тех, кто проявлял интерес ко мне и нашему классу в целом; и я решил терпеливо подождать еще некоторое время. Затем весь конвой из Нейи был отпущен на свободу под радостные крики заключенных. Дворяне не были исключены из этой меры — факт, который впервые заставил меня по-настоящему поверить, что я не останусь навсегда в Плесси; и я написала месье Ноэлю, чтобы он имел в виду меня. Он прислал мне известия обо всех членах моей семьи, кроме моего сына, о котором я ничего не мог узнать; дети моей несчастной невестки пришли навестить меня.^[8] Присутствовали другие; и я не мог произнести ни единого слова, настолько велико было мое волнение. Я обнял их и затем удалился в свою комнату,

полностью подавленный душераздирающими воспоминаниями, пробужденными их присутствием.

Теперь среди заключенных царило большое возбуждение. Когда у человека нет надежды, ничего не остается, кроме как смириться; но мы отбросили мысль о приближающейся смерти и задумались об освобождении из плена.

Однажды, когда я сидел в своей старой комнате с камином, которая была освобождена и обладание которой снова доставляло мне истинное удовольствие, я увидел, как снаружи вошел человек по имени Фортен; он сказал мне, что он юрист, которого часто нанимает месье Лежандр, депутат от Парижа и член Комитета общей безопасности, и что он может быть мне полезен. Он задал мне очень много вопросов и внушил мне доверие; он приходил ко мне несколько дней подряд и просил мои документы. Я предъявил ему доказательства того, что я никогда не эмигрировал; что я не выезжал за пределы департаментов Париж и Уаза, откуда у меня были гражданские удостоверения и вид на жительство; что я был заключен в тюрьму только как дворянин и что против меня не было ни малейшего обвинения. Впоследствии я вступил с ним в переписку.

Письма циркулировали более свободно, и мы могли отправлять их через заключенных, которые уходили каждый день. Я поручила гувернантке детей мадам де Шовелен передать весть обо мне моей свекрови. Мы узнали, что во все тюрьмы были направлены помощники шерифа, чтобы освободить заключенных, и что Бурдон из Уазы и Лежандр руководили нашей тюрьмой.

16 октября 1794 года большие ворота открылись, и мы увидели въезжающую карету этих депутатов, что показалось нам странным и приятным зрелищем, поскольку до сих пор всякий раз, когда во двор въезжала повозка, она уезжала, нагруженная жертвами. Помощники шерифа поднялись в канцелярию, куда были вызваны заключенные низшего разряда. Восемьдесят из них были немедленно отпущены на свободу. Знать все еще не знала, будут ли они вскоре причислены к избранным. Депутаты перенесли свое второе заседание на 18 октября. Я чувствовал, что, вероятно, именно в этот день нас подвергнут экзаменам, и я боялся этого из-за своей любви к правде. Я боялся, что могу ему изменить или что, если скажу правду прямо, могу остаться в плену еще на несколько лет. Пока я прокручивал эти мысли в своей голове, которая была очень встревожена (это было знаменитое 18 октября), я получил приказ явиться в контору клерка. Когда мы вошли в комнату, где находились депутаты, они суровым тоном сказали нам: "Пусть *ci-devants* покинут комнату; не подобает разглядывать хороших *санкюлотов* в их присутствии". Мы удалились и прождали почти три часа, большую часть времени стоя. Все это время я беседовал с мадам де Лафайет. Наконец подошла моя очередь. Бурдон спросил, как меня зовут; я назвал их ему. Он вскочил со стула и воскликнул: "Это ужасные имена! Мы не можем отпустить эту женщину на свободу; ее дело должно быть передано в Комитет общей безопасности".

Я молча молил Небеса о помощи, чтобы они позволили мне следить за собой в этот момент и не нарушать истину.

Бурдон задал мне несколько незначительных вопросов относительно моего места жительства, времени моего заключения и т.д. Лежандр, которого Фортен и месье Ноэль заинтересовали в моей защите, проявил любезность и указал своему коллеге, что "мои документы были хорошими, что он хорошо отзывался обо мне, что он знал, что я был членом благотворительного

совета Сен-Сюльпис". Я чувствовал настоящее удовлетворение от того, что у меня есть обязательства перед бедными. Фортен спросил меня, что я сделал для помощи Революции. Я ответил: "Всю свою жизнь я совершал любые добрые поступки, какие только мог; и я давал деньги бедным добровольцам в поместье моего отца, когда они отправлялись в армию". Заключение, присутствовавший при моем допросе, был так любезен, что произнес в мой адрес панегирик, который смотритель одобрил и дополнил, восхваляя мое подчинение правилам заведения.

Я спокойно облокотился на стол, на котором лежали бумаги судей. Позже я узнал, что мое поведение сочли надменным. Мне не было вынесено никакого приговора, и в конце концов я сказал им, что несравненные страдания, которые я пережил, дают мне право на правосудие с их стороны. Лежандр казался несколько тронутым, но я ушел от него через минуту после того, как почувствовал, что мое дело проиграно. Он обошелся с мадам де Лафайет в самой оскорбительной манере. Он сказал ей, "что у него есть большая вина перед ней, что он ненавидит ее мужа, ее саму и ее имя". Она ответила с таким же мужеством и благородством, "что она всегда будет защищать своего мужа и что имя не является преступлением".

Бурдон задал ей несколько вопросов, на которые она твердо ответила. Наконец Лежандр положил конец этому приятному диалогу, сказав ей, что она наглое создание. Они решили освободить большую часть наших товарищей. Я удалился в полной уверенности, что меня снова занесут в тюремную книгу. Но один из моих соседей заверил меня, что я был в списке тех, кто должен был быть освобожден. На этот раз я получил убедительные доказательства того интереса, который мои товарищи проявляли к моей сомнительной судьбе; я вернулся в свою комнату, уверенный, что мне предстоит снова надеть оковы; я смирился с этим, как и мадам де Лафайет. Чувствовать это не так уж трудно, когда человек пережил много несчастий и когда у него нет надежды вернуться к тем, кого он любит.

Я заметил, что лучше, когда человек собирается расстаться с жизнью, не быть окруженным теми, кто делает ее такой дорогой. То, от чего человек страдает ради других и из-за себя самого, в совокупности - это слишком много, чтобы его можно было вынести.

19 октября 1794 года, в десять часов утра, когда я был занят своими утренними обязанностями, я услышал, как внезапно открылась моя дверь. Незадолго до этого я должен был быть уверен, что это сообщение о моей смерти, и даже сейчас я не думал, что это внезапное вмешательство принесет хорошие новости; но кто-то, имени которого я не помню, радостно сказал мне: "Ты свободен!" Мое сердце, столь непривычное к приятным эмоциям, не сразу восприняло эту мысль. Вошел хранитель, подтвердил новость и принес мне мой *акт освобождения*. Тогда я с грустью подумал о том, как мало пользы это принесло бы мне. Лишенная всякого комфорта, разлученная с моим сыном и родителями, с мадам де Шиме, — единственным другом, которого мне оставили Небеса, — без дома и без самого необходимого для жизни, я была раздражена поздравлениями тюремщиков и жандармов, которые раньше угрожали мне гильотиной, и очень боялась, что они, по своему обычаю, проявят свои чувства, обняв меня; но, к счастью, я спаслась. В этом смятенном состоянии мыслей и чувств воспоминание о моем дорогом сыне и мысль о том, кем я могла бы быть для него, пробудили во мне мужество, которое не выдержало этого ужасного кризиса. Необходимо было собрать мой небольшой гардероб, что заняло совсем немного времени. Все мои пожитки были сложены в два свертка. Я попрощался с мадам де Лафайет, которой вместе с несколькими другими лицами было суждено остаться в тюрьме. Я

был очень благодарен ей за радость, которую, несмотря на ее плачевное положение, она выказала, увидев, что меня освободили из рабства. Я нанял комиссара в "Гритинг", который помог мне с багажом. Мы благополучно добрались до дома моей свекрови, которая тогда жила на улице Бельшасс. Она приняла меня очень ласково. Я застала ее с моей племянницей; они меня не ждали, как и месье Ноэль, который из-за своего интереса и привязанности ко мне приложил все усилия, чтобы освободить меня. Он пришел навестить меня и заверил, что мадам Друль (бывшая гувернантка мадам де Майи) очень хотела, чтобы я осталась в ее доме. Я принял это любезное предложение на несколько дней, хотя и боялся скомпрометировать ее, поскольку к нашему классу все еще питалась большая неприязнь. Я пошла навестить свою няню Ройял, которая была очень тронута, увидев меня; она приберегла для меня все, что могла. Я попросила у нее несколько траурных платьев, поскольку не надевала ни одного со дня смерти моих родителей. Ко мне пришла мадам Латур. Нашу беседу прервали горькие рыдания. Невозможно представить, что я почувствовала, увидев человека, который в последний раз видел моих родителей и который проявил к ним такую искреннюю привязанность; это вернуло меня к первым часам моей тяжелой утраты. Я показался ей ужасно изменившимся; я выглядел на десять лет старше и как человек, восставший из мертвых. Несколько слуг из нашего дома также пришли навестить меня. Число верующих было очень невелико, поскольку Революция сделала часть из них "патриотами", а некоторых даже террористами.

Для меня было большим удовольствием еще раз увидеть моих старых друзей, — среди прочих, мадам де Турзель, которая пережила более ужасные сцены, чем кто-либо из них; она проделала ужасное путешествие из Варенна, была приговорена "кровавым трибуналом" 2 сентября и шесть раз сидела в тюрьме. Я едва мог поверить своим глазам, когда обнял ее. При всех тяжелых обстоятельствах, в которые она попала, она проявила мужество выше всяких похвал. После торжественных сцен, участниками и свидетелями которых мы были, было действительно прискорбно видеть, какое значение мы придавали мелким жизненным necessities после того, как были так долго лишены их. Для меня было огромным удовольствием иметь возможность пользоваться ножом, чистой тарелкой, ножницами, смотреться в зеркало и т.д.; Но величайшим наслаждением из всех было то, что я больше не подчинялся низкому и порочному. Однако я испытываю некоторую благодарность Хали, хранителю, и Тавернье, клерку, за то, что они сохранили и отреставрировали мне часы, о которых я упоминал ранее, которые я очень ценил.

Избавление от всех моих прошлых недугов было для меня очень приятным, но, казалось, все покрылось пеленой; я чувствовал отвращение ко всему, как человек испытывает отвращение к лекарствам. Хотя я и привык быть окруженным сочувствующей любовью, мысль о моей изоляции ошеломила меня. Казалось, что, хотя период моего несчастья становился все более отдаленным, свобода усиливала силу моих чувств, и мысли мои с каждым днем становились все печальнее. Мысль о смерти неизбежно наиболее эффективно притупляет остроту горя, поскольку приближает нас к тому моменту, когда мы находим то, что потеряли, и перестаем сожалеть. Мой разум с удвоенной настойчивостью вернулся к своему прежнему горю, и я больше не мог открывать свое сердце своим друзьям. Я не был уверен, что мой сын жив, пока долгое время не вышел из тюрьмы. Я планировал удалиться в деревню с одним слугой и там оплакивать своих близких. В утешении исполнить перед драгоценными останками моих родителей обязанности, соблюдаемые во все века и всеми религиями, мне было отказано. Их

прах смешан с прахом преступников на кладбище Пикпюс, земля под которым была куплена мадам принцессой де Гогенцоллерн, сестрой принца Сальм-Кирбургского. Но в последний великий день, когда откроются все сердца, Бог будет знать, как распознать своих избранных и показать их, блистающих во славе, собравшимся народам.

После восстановления церкви я был одним из первых, кто помолился за моих родителей. В Зарубежных миссиях за них отслужили мессу. Мы нуждаемся в их защите. Я верю, что их небесное благословение да пребудет на их детях и внуках до последнего поколения.

Жалкое положение моей свекрови, которая, хотя и не сидела в тюрьме, находилась под арестом в собственном доме с дюжиной тюремщиков, которые не покидали ее до тех пор, пока им не перестали платить, побудило меня посвятить себя заботе о ней; но я не могла этого сделать, поскольку закон о ссылке дворян не был отменен. Нам разрешили только *двадекади*^[9], чтобы подготовиться, и сразу после этого мы должны были удалиться на несколько лиг от Парижа. Мне было необходимо найти какое-нибудь убежище; мадам де Ларошфуко-Дудовиль, моя родственница, предложила мне приехать в ее загородный дом и заверила, что я буду рад всему, что у нее есть. Ее добрые чувства ко мне заставили ее предложить то, чего у нее на самом деле не было, ибо маленький дом, который она занимала в деревне Виссон, недалеко от Лонжюмо, едва ли был достаточно велик для ее собственной семьи. Я пошел посмотреть на это и решил снять какое-нибудь жилье неподалеку от нее и мадам де ла Сюз и де ла Рош-Эймон. Однако у меня не было возможности занять их, поскольку я добился продления своего пребывания в Париже, и за это время закон был отменен.

Пробыв шесть месяцев в доме доброй мадам Друль, я нашла свободную комнату в доме, где жила моя свекровь, и немедленно заняла ее. Было очень холодно, и зимы 1794 и 1795 годов были очень тяжелыми. Мне некому было прислуживать. Я приходил, чтобы лечь спать, и обнаруживал, что огонь в камине погас, и это часто происходило после того, как я прошел большое расстояние. Я сильно скучал по солнечному свету на улицах, так как мне нужно было готовить и завтрак, и ужин. Чтобы посетить мессу, мне пришлось выйти засветло и прибегнуть к тайным местам поклонения, где благочестивые механики с радостью приняли меня. За все время правления террора не было ничего более поучительного, чем мужество, которое они проявили, предоставив верующим возможность исповедовать свою религию. Я переоделась служанкой и, следовательно, не могла надеть ни одного из теплых *блинчиков*, которыми нас снабжают в роскоши; этот маскарад был необходим для того, чтобы не выставлять напоказ места, где совершались святыя тайны.

На Рождество 1794 года, когда термометр в Реомюре упал до восемнадцати градусов, я просидел на улице Монторгей, недалеко от Монмартра, всю службу, проповедь, вечерню и благословение. В шесть часов вечера я очутился на Новом мосту, и северный ветер резал мне лицо, как ножом. После выхода из тюрьмы у меня вошло в привычку выходить на улицу в одиночку; я продолжал это делать и находил это очень удобным. В ту суровую зиму я ни разу не простудился. Время от времени я встречался со своими старыми знакомыми и всегда был глубоко тронут. Мы неизменно говорили об обращении в разных тюрьмах и перенесенных страданиях. Почти все выдающиеся личности были заключены в тюрьму или, по крайней мере, находились под арестом в своих собственных домах, который заменялся только в качестве большого одолжения для немощных или престарелых. Мы обнаружили некоторое разнообразие в ужасах; но при сравнении Консьержери и Плесси оказались самыми ужасными из всех тюрем

из-за обращения с ними и большого количества жертв, которых постоянно уводили из них на эшафот.

Мадам Дудовиль очень любезно убедила меня провести несколько дней с ней в ее загородном доме. Ее красота, привлекательность ее дома, искренняя скорбь, которую она испытала в связи со смертью моих родителей, и ее доброта ко мне несколько приободрили меня, хотя я был так подавлен горем. Я почти разучился писать обычные письма и уже давно совершенно отвык от этого. Небрежный стиль этих мемуаров и их скучность являются доказательством того, что я уже сказал.

Наконец я получил известие от моего сына, и это вернуло меня к жизни.

Последняя часть зимы была ужасно тяжелой как из-за нехватки продовольствия, так и из-за холода. Было почти невозможно раздобыть дрова, свечи или хлеб. Мы отправились за ними на тридцать-сорок лиг. Я носил кое-что в кармане, когда выходил обедать, даже в доме мадам герцогини Орлеанской, которая жила на улице Шаронн, недалеко от барьера в Сент-Антуанском предместье. Она хвасталась, что у нее есть фермер, который каждую неделю присылает ей буханку хлеба весом в четыре фунта. У нее была скудная еда; ее блюда были тем, что обычно называют *culs-noirs*. Карлик служил ей дворецким и камердинером. Она благородно переносила свою бедность и шутила по этому поводу. Я помню, как одна дама сказала королеве, жене Людовика XVI, когда она была в Тюильри, что она знала одну женщину, более несчастную, чем она, и это была герцогиня Орлеанская. Она унаследовала сто двадцать миллионов от господина герцога де Пентьевра, которыми завладела нация, но не выделила ей из них даже столько, чтобы прокормить свою жизнь.

Революция научила нас понимать бедность, заставив нас испытать ее на себе. Два фермера из поместья Муши, имена которых я записываю с благодарностью, — Дюрейнси и Изоре, — прислали мне немного муки. Я уверен, что ларец, полный золота, никогда не доставил бы мне такого удовольствия. Вечером люди разговаривали только о том, что они ели днем. Слуги стояли в очереди с трех часов ночи, пытаясь раздобыть провизию. Женщины и молодые девушки часто ждали двадцать четыре часа. Иногда целый день уходил на то, чтобы раздобыть буханку хлеба или две унции чего-нибудь, приготовленного из конопляного семени, зеленых груш и всякой другой гадости. Всякий раз, когда у меня появлялась эта нездоровая пища, я делился ею с окружающими. Именно *максимальная*^[10] привела Париж в такое бедственное положение.

Вскоре я оказался перед новой дилеммой: меня выслали из моего жилья, которое было сдано кому-то другому. Мадам де Турзель предложила мне поселиться на имя мадам де Шарост, и я согласилась; это было очень высоко. Я обедал со своей свекровью и, следовательно, вечером был чрезвычайно утомлен количеством ступенек, которые я преодолел; потому что я был очень разбит всем, что мне пришлось пережить. Очаровательное общество этого дома с лихвой вознаградило меня за всю мою усталость. Моей свекрови пришлось покинуть дом, в котором она остановилась, и мадам де Беврон одолжила ей свой. У нас было очень хорошее жилье, но еда была отвратительной. Моя свекровь и я жили на три франка в день (*вассигнациях*) в закусочной, — неопределенность будущего, вынуждавшая меня экономить небольшие средства, все еще оставляла меня. Как количество, так и качество еды было недостаточным; ничто не могло быть более отвратительным, чем мясо, которое нам подавали. Я давно привыкла к такой пище; но я горевала из-за моей свекрови, хотя она никогда не жаловалась на это. Она переносила ужасы своего положения с восхитительной покорностью и терпением. Небеса,

несомненно, поддерживали ее до конца ее печальной жизни. Теперь произошло самое счастливое для меня событие: мадам де Беврон переехала жить в свой собственный дом, и освободилось несколько квартир в доме мадам де Ларошфуко; мы вступили во владение ими 1 октября 1795 года. Такое расположение было для меня гораздо более приятным; с тех пор я продолжаю жить там и не желаю ничего лучшего. Нахождение рядом с моим сыном и невесткой придает этому еще одну привлекательность; и поскольку моя жизнь сейчас протекает самым обычным образом, я заканчиваю эту утомительную историю, прося читателя извинить ее недостатки.

Париж, 11 февраля 1804 года.

(Подпись)

Noailles de Durfort-Duras.

ДОПОЛНЕНИЯ.

Перечитывая свои мемуары, я нахожу очень много повторов, особенно в заметках, где я несколько раз упоминаю мадам Латур.

Когда мой достопочтенный отец покинул Люксембургскую тюрьму, чтобы быть переведенным в Консьержери, он печальным голосом сказал заключенным, провожавшим его до дверей: "В шестнадцать лет я отправился в окопы, чтобы служить моему королю; в восемьдесят я взошел на эшафот, повинувшись воле Божьей".

"Вестник ночи", хотя и был органом эпохи террора, поместил в своих колонках следующую статью 20 мая 1795 года III. республики:—

Когда достопочтенного маршала де Ноай-Муши, который всю свою жизнь был отцом несчастных, вместе с его доброй женой вывели на казнь, один негодяй громко воскликнул: "Теперь *"санкюлоты"* наслаются вашим хлебом и выпьют ваше вино". Он ответил с тем спокойствием, которое чистая совесть дарует честному человеку: "Дай Бог, чтобы у вас был хлеб еще на год и чтобы вам не пришлось пожирать друг друга".

Различные записки и меморандумы, касающиеся месье и мадам де Муши и их невестки Луизы Ноай, которая была осуждена и казнена 4 Термидора, 22 июля 1794 года.

Когда я отправился в суд, заседавший в аббатстве Сен-Жермен, чтобы восстановить последнюю волю и завещание моих отца и матери, которые затем были переданы мне, Роберт Линдет принес мне из офиса следующее:

Национальный съезд.

Комитет общей безопасности Национального собрания. Пятый день третьей декады первого месяца Французской Республики, единой и неделимой.

Комитет уполномочивает гражданина Брота отправиться в Муши, недалеко от Бове, с целью ареста гражданина Ноай-Муши (чей сын, бывший принц де Пуа, эмигрировал), жены упомянутого Муши и всех других подозреваемых лиц; он должен препроводить их в тюрьму Ля

Гранд Форс, произвести все необходимые обыски и изъятие документов, поставить печати и изъять все, что кажется подозрительным. После того, как печати будут проставлены, гражданин Брот на основании этих подарков добьется ареста гражданина Муши, где бы его ни обнаружили, а также его жены и других подозреваемых лиц. Более того, он может обратиться за помощью к конституционным властям и вооруженным силам.

(Подпись)

Vadier, Panis,

Лавикомтери, Ягот,

Дэвид и Дюбарра.^[11]

Удостоверено в соответствии с ордером, сданным на хранение в канцелярию тюрьмы Ла Форс мной, нижеподписавшимся.

Париж, 5 Прериальный год II.

(Подпись)

С. Ф. Ришло, клерк.

Выдержка из протокола канцелярии Революционного трибунала, учрежденного в Париже 10 марта 1793 г.

Решением, вынесенным 9-м мессидором II года. французской Республики на открытом заседании трибунала в составе: Наулена, вице-председателя; Браве, Легарнье, Лоне, судей, которые подписали протокол вместе с секретарем по заявлению присяжных, в котором утверждается, что Филипп Ноай-Муши и другие, ранее упомянутые в указанном протоколе, доказаны как враги народа, поскольку они были сообщниками предателя Капета в распределении денег, использованных этим тираном для подкупа непокорных священников, с помощью которых была разжигается гражданская война; поддерживая всеми силами все проекты бывшего двора по свержению свободы, подавлению народа и восстановлению деспотизма; путем установления связей с врагами Республики с целью получения людей и денег для содействия вторжению на территорию Франции; стремясь устно и письменно способствовать деградации и роспуску национального представительства и восстановлению монархии; путем убийства патриотов на Марсовом поле, а также путем разжигания гражданской войны и стремясь возбудить граждан друг против друга; и, наконец, стремясь всеми возможными средствами уничтожить национальное представительство. уничтожить общественную свободу.

Представляется, что трибунал, заслушав допрос общественного обвинителя, в соответствии с законом приговорил к смертной казни Филиппа Ноай-Муши, семидесяти девяти лет, уроженца Парижа, бывшего дворянина, бывшего герцога и маршала Франции, бывшего управляющего дворцами Версаля, Марли и других мест, проживающего в Муши, департамент Уаза, и в Париже, на улице Университета, и объявил о конфискации его имущества в пользу Республики.

Из обвинительного акта, составленного общественным обвинителем Фукье 8-го мессидора II года, дословно взята следующая выдержка:

Ноай-Муши был агентом Капета по распределению денежных сумм, с помощью которых он подкупал непокорных священников, *эмигрантов* и других соучастников их гнусных интриг и платил им за совершение их преступлений.

Выдержка, соответствующая минуте, безвозмездно предоставлена мной, хранителем архивов.

(Подпись)

Перре.

Копия этикетки, наклеенной на чернильницу господина маршала де Муши, найденную среди его вещей в Люксембурге и возвращенную его родственникам:

№ 20.

Ноайль, на ком меч закона

свершил правосудие.

Разные письма и записки от моего

Невестка, написанная из тюрьмы

из Люксембурга.

Месье Греле, воспитателю ее детей, который

был им как отец:

Я поручаю заботам месье Греле моих троих детей — двух моих мальчиков и девочку. Я заявляю, что это мое самое положительное и четко выраженное желание, на случай, если я захочу, чтобы он отвечал за них. Я передаю ему все свои права и власть над ними. Я умоляю его быть им матерью и ни при каких обстоятельствах не позволять никому разлучать их с ним. Я разрешаю ему перевозить их из одного места в другое так, как ему покажется наилучшим, — короче говоря, обращаться с моими детьми так, как если бы они были его собственными. Я уверен, что все, кто заботится обо мне, будут самым священным образом относиться к этому моему желанию.

Написано в Люксембургской тюрьме 24-го мессидора II года. Французской Республики, единой и неделимой.

(Подпись)

Луиза Ноай, жена Ноая.

Письмо того же самого тому же Самому.

Я посылаю тебе, мой дорогой друг, краткое завещание, которое, как мне сказали, будет иметь силу; я храню его копию у себя в кармане. Используйте это как можно лучше, так же как и мою мать, сообщая об этом соответствующим людям, когда придет время. Бог поддерживал и будет поддерживать меня; я очень сильно верю в Него. Прощай, мой дорогой друг; я буду благодарен тебе даже на Небесах. Будь уверен в этом. Прощайте, Алексис, Альфред, Евфими. Любите Бога всю свою жизнь; всегда цепляйтесь за Него. Молись за своего отца и живи ради его счастья.

Помни о своей матери и о том, что ее самым заветным желанием для вас было то, чтобы вы были детьми Божиими. Я даю всем вам свое последнее благословение. Я надеюсь снова найти тебя в объятиях твоего Отца. Я не забуду наших друзей, и я надеюсь, что они не забудут меня.

Прилагаемая записка для Луи. (Так она называла своего мужа.) Приложите ее к той, которая у вас уже есть.

(Подпись)

L. Noailles.

Луиза Ноай своему мужу.

Вы найдете письмо от меня, моего мужа, написанное в разное время и очень бессвязно. Мне бы хотелось переписать его и многое добавить, но сейчас это невозможно. Поэтому я могу только подтвердить уверенность в любви, которую, как вы уже знаете, я питаю к вам и которую я унесу с собой в могилу. Вы знаете, какие ужасные обстоятельства окружают меня, и вы будете рады узнать, что Бог заботился обо мне; что он поддерживал мою силу и мое мужество; что надежда обрести, пожертвовав своей жизнью, вечное благополучие для вас и моих детей будет продолжать ободрять меня в самые ужасные для плоти моменты. Пусть Богу будет угодно, чтобы эта мысль побудила вас жить вечно и стремиться в унисон со мной. Я доверяю вам моих дорогих детей, которые были утешением в моей жизни и, я надеюсь, будут утешением в вашей. Я уверен, что вы будете стремиться укрепить в них принципы, которые я вам привил; они - единственный источник истинного счастья и единственное средство его достижения. Теперь у меня есть к тебе, муж мой, последняя просьба, которую, я уверена, ты сочтешь излишней, когда узнаешь, в чем она заключается. Я умоляю вас до последнего вздоха никогда не разлучать моих дорогих детей с месье Греле, на попечение которого я их оставила. Я умоляю моего дорогого Алексиса передать вам все, чем мы ему обязаны. Нет такой доброй заботы и внимания, которых он не проявлял бы ко мне, особенно с тех пор, как я побывал в тюрьме. Он был и отцом, и матерью для этих бедных детей; он пожертвовал собой ради них и ради меня в самых тяжелых обстоятельствах с нежностью и мужеством, за которые мы никогда не сможем быть достаточно благодарны. Единственное утешение, которое я могу иметь, - это знать, что мои дети находятся на его попечении. Ты не нарушишь этого соглашения, муж мой; и я уверена, что ты свято отнесешься к этому моему желанию. Я не знаю, что станет с моей бедной Эуфемией, но заявляю вам, что по тысяче причин я желаю, чтобы гражданка Тибо больше не заботилась о ней.

Муж мой, я в последний раз прощаюсь с тобой. Пусть мы еще раз воссоединимся в Вечности.

От того же самого Алексису, ее старшему сыну,

27-й мессидор.

Я поручаю тебе, мое дорогое дитя, дать твоему отцу подробный отчет о наших обязательствах перед гражданином Греле. Я полагаюсь на твое сердце, чтобы заставить его понять, кем он был для тебя и для меня. Не забудь сказать, что он пожелал поделиться с нами своим кошельком и что мы жили полностью за его счет.

Шлю вам, мои дорогие дети, самую нежную любовь и поцелуи....

Того же месье Греле.

Я не виновата, мое дорогое дитя (так она привыкла обращаться к месье Греле), что ты ждала вчера так долго и напрасно; я очень сожалею об этом, а также обо всех хлопотах, которые доставляют тебе эта мать и дети. Помни, что ты - единственное и благословенное утешение, которое у меня есть в этом мире. Я не получал от вас вестей с тех пор, как вы отправили небольшое сообщение, когда выходили с завтрака у гражданки Рэймонд, до вчерашнего дня в половине двенадцатого. Тогда было уже слишком поздно для моего ответа. Я уже говорил вам, в каком состоянии мое белье. Мне оно очень нужно; достаньте его для меня у моего доверенного слуги.

Я очень одобряю ваше жилье; сказать ли мне моей невестке, что я настаиваю на том, чтобы вы остались со своими братьями? Письмо, которое у вас есть, кажется мне более убедительным, чем все, что я мог бы сказать.

Прощайте, мои дорогие дети; я люблю вас всех четверых еще нежнее, чем когда-либо.

У меня все хорошо, как обычно.

(Подпись)

L. Noailles.

Последнее письмо мадам де Ноай к

Monsieur Grelet.

Я получил, мое дорогое дитя, все, что ты послала мне; я благодарю тебя тысячу раз и никогда не перестану повторять, как это делают бедняки: "Бог вознаградит тебя". Это был и всегда будет крик моего сердца, как сверху, так и отсюда, снизу. Мне стыдно за то, что я вчера сказал "это" матери и детям. Это выражение беспокоит меня; я должен был сказать "как обычно", и я говорю сейчас от всего сердца: *"твоя мать и твои братья*, о которых ты особенно заботишься, потому что ты старший. Если бы не ты, мое дорогое дитя, что бы с ними стало?

Прощайте, дорогие, родные дети; шлю вам свою самую нежную любовь и поцелуи.

(Подпись)

Louise Noailles.

Выдержка из последней воли и завещания Анны-Жанны-Катрин-Доминик-Адриенны-Луизы-Полин Ноай, жены бывшего виконта де Ноай.

Во имя Отца, Сына и Святого Духа:

Я вверяю свою душу Богу; я умираю в религии Римско-Католической Апостольской церкви, в которой по милости Божьей я родился и всегда жил. Моя любовь к этой святой религии росла вместе с моим взрослением; я верю, что она будет моей поддержкой, когда я умру, так же как она была моей силой и утешением в каждый момент моей жизни. Я твердо верю во все, что Богу было угодно открыть нам, и во все, чему учит Католическая, Апостольская и Римская Церковь.

Я надеюсь на его обетования; я всецело полагаюсь на заслуги Иисуса.

Я прошу господина де Ноая, моего мужа, взяться за исполнение моей воли; я рада дать ему в этом последнем акте моей жизни новое доказательство моего доверия и любви, которые сделали меня такой счастливой. Поэтому я отдаю в его руки все свои интересы любого рода, какие бы они ни были.

Я надеюсь, что он будет относиться к ним как к своим собственным, и что когда он займется деталями, то вспомнит ее, которая чувствовала себя такой по-настоящему счастливой, будучи соединенной с ним, и все, что она перенесла ради своей любви. Я умоляю его принять маленький бюст Адриана и два портрета наших детей. Я благословляю этих дорогих детей своим последним вздохом. Я умоляю их ради любви, которую я питаю к ним, приблизиться к Богу всем своим сердцем, стремиться повиноваться Его законам. Я уверяю их, основываясь на моем собственном опыте, что только так они смогут ощутить вкус чистого и прочного счастья среди всех перемен этой жизни. Я прошу их помнить, что желание их настоящего счастья было постоянным объектом моих мыслей и молитв, и что я никогда не перестану молить Бога об этом, если он милостиво примет меня. Я оставляю им все портреты их отца. Я заклинаю их почитать и любить его до конца своих дней и с огромной нежностью вспоминать о той, кто дал им жизнь. Я прошу их помнить, что именно им я доверяю заботу о его счастье; и я заклинаю их выполнить мой долг по отношению к нему.

Я вверяю себя молитвам моих родственников и друзей и полагаюсь на то, что они вознесут молитвы к Богу за упокой моей души.

Я прошу исполнителя моего завещания (которым будет месье де Граммон за неимением моего мужа) передать моей матери и сестрам все, что они пожелают из вещей, принадлежавших мне.

Я вновь заверяю свою мать в моей самой нежной и сыновней привязанности. Я обязан ей огромной долей счастья в моей жизни, и особенно я буду обязан ей своим вечным счастьем, если Бог в своей милости примет меня.

Я прошу мадам де Лафайетт, во имя привязанности, которую мы питаем друг к другу, не поддаваться горю, но выдержать ради ее мужа и детей. Ее настоящее счастье, ее интересы и интересы всех, кто ей дорог, всегда будут моими; и я всегда буду нести их с собой. Я умоляю ее, а также двух других моих сестер помнить, что этот союз, который был радостью и утешением нашей жизни, не распался, что мы расстались ненадолго и что мы воссоединимся, я надеюсь, навеки. [Далее следуют завещания.] Я еще раз заверяю моего отца в моей истинной и нежной любви к нему; я прошу его помнить меня и верить, что, как я искренне и непрестанно молилась о его счастье в этом мире, так и одной из моих самых дорогих обязанностей будет умолять Отца о нем в другом.

Написано в Париже 5 апреля 1794 года.

(Подпись)

Louise Noailles.

Дополнение к 4-й Вандее, год II.

республики.

Во имя Отца, Сына и Святого Духа:

Прими, Господи, жертву моей жизни; Я отдаю дух мой в руки Твои. Помоги мне, о Боже мой! Не покидай меня, когда мои силы иссякнут.

Я всегда жил и надеюсь милостью Божьей умереть в римско-католической апостольской религии.

Я прощаю всех моих врагов (если они у меня есть) от всего сердца; я молюсь, чтобы Бог даровал им свое полное прощение.

Я прошу произвести оплату и т.д.

Написано в Париже и

(Подпись)

Louise Noailles.

Выйдя из тюрьмы, я узнал, что там была некая дама по имени Лавет, которая находилась в Консьержери одновременно с мадам де Ноай и д'Айен. Я поспешил навестить ее и попросить рассказать об их коротком и ужасном пребывании в этой тюрьме, которое она мне изложила следующим образом:

Госпожи де Ноай и д'Айен прибыли в Консьержери 21 июля 1793 года, чрезвычайно утомленные переездом из Люксембурга, который был совершен в очень грубых повозках. Они страдали от нехватки еды, которую для них было невозможно раздобыть, так как было девять часов вечера, а правила тюрьмы не разрешали приносить что-либо после наступления темноты. Мы могли только дать им немного крыжовенной воды, чтобы утолить жажду. Их посадили в темницу, где находились еще три женщины, одна из которых знала мадам де Лафайет понаслышке. Она проявила добрую заботу о своих соседях и взялась помочь им раздобыть кровати; но сторожа, обнаружив, что у них нет даже сорока пяти франков, которые они требовали за их меблировку, наотрез отказались их предоставить. В Люксембургском дворце у них отняли все; у виконтессы де Ноай было всего пятьдесят су. Мадам Лаве, тронутая положением этой несчастной семьи, уступила свою кровать мадам маршаль де Ноай, достала другую для мадам д'Айен и предложила своей дочери лечь на раскладушку. Однако она не стала этого делать, сказав, что ей осталось жить слишком мало времени, чтобы стоило брать на себя такие хлопоты. Мадам д'Айен провела большую часть ночи, пытаясь убедить ее сделать это, но безуспешно. Женщина-ангел позаимствовала книгу молитв и светильник, с помощью которых она постоянно читала и молилась Богу. Она останавливалась только для того, чтобы прислуживать своей бабушке, которая спала с перерывами в несколько часов. Каждый раз, просыпаясь, бабушка перечитывала свой обвинительный акт, говоря себе: "Нет, это невозможно, чтобы я умерла из-за заговора, о котором я ничего не знаю; я буду отстаивать свое дело перед судьями, чтобы они не смогли осудить меня". Она подумала о своем платье, испугалась, что оно помялось, поправила шляпку и не поверила, что следующий день может стать последним в ее жизни. Мадам д'Айен испытывала опасения, но не была уверена в неминуемой опасности, которая ей угрожала. Она ненадолго задремала. Она очень волновалась, желая отправить свои часы — единственное, что у нее осталось, — своим детям. Она убеждала своих спутников позаботиться о них, но они не осмелились этого сделать. Виконтесса де Ноай обратилась с той же просьбой относительно пустой папки, портрета и кусочка волос, но получила тот же ответ, что такие заказы скомпрометируют их всех. Она заставила мадам Лаве пообещать передать месье Греле,

что она умрет с миром и совершенным смирением, но что она от всего сердца жаждет увидеть его и своих детей. Кто-то в этой скорбной комнате произнес имя ее дорогой сестры, мадам де Лафайет; она запретила им говорить о ней, чтобы это не скомпрометировало ее. Мадам де Ноай, младшая, о которой я только что говорил, и не думала спать; ее глаза были широко открыты, она созерцала тот Рай, в который ей так скоро предстояло попасть. Ее лицо выражало безмятежность ее души. Мысли о вечности поддерживали ее мужество. Такого спокойствия никогда не видели в этом ужасном месте. Она полностью забыла о себе, заботясь о матери и бабушке.

В шесть часов утра, чтобы отвлечь их внимание, мы решили накормить их завтраком. Госпожи де Буффлеры принесли им немного шоколада. Они пробыли с ними несколько минут, а затем попрощались окончательно.

Пробило девять часов; пришли судебные приставы и обнаружили своих жертв в окружении плачущих друзей, которые знали их всего двенадцать часов. Мать приняла некоторые меры на случай, если их оправдают. Дочь, которая ни разу не усомнилась в ожидающей ее судьбе, поблагодарила мадам Лаве в своей милой, любезной манере, выразила свою благодарность за всю ее доброту, а затем сказала: "Я прочла удачу на вашем лице; вы не будете обезглавлены".

Это все, что мне удалось узнать от мадам Лаве относительно той ужасной сцены.

(Подпись)

Noailles,

Duchesse de Duras.

1. Принц де Пуа, который защищал короля и последовал за ним 10 августа.

2. Строка Расина.—Переводчик.

3. Этот "маленький замок", построенный в шестнадцатом веке, является одним из лучших существующих образцов архитектуры эпохи Возрождения и был включен в дар герцога Омальского французской нации (1886). Большой замок, где Конде провел двадцать лет своей жизни и который был так известен своими литературными ассоциациями с именами Мольера, Буало, Расина и Лафонтена, был разрушен в 1793 году.—Переводчик.

4. Один из праздников, внесенных в пересмотренный революционный календарь.—Переводчик.

5. Подробный отчет о Люксембургской тюрьме можно найти в дневнике мадам Латур.

6. Виконтесса де Ноай.

7. Жертвы, доставленные в Революционный трибунал для допроса, были посажены в кресло, и оттуда их повели на эшафот.

8. Алексис и Альфред де Ноай, сыновья виконтессы де Ноай.

9. Деление на десять дней, на которое республиканский календарь вытеснил недельный перевод.

10. Самая высокая цена, по которой в то время разрешалось продавать продукты питания в Париже.

11. Первый революционный трибунал был учрежден законом от 17 августа 1792 года.

МЕМУАРЫ МАДАМ ЛАТУР.

Содержащий Рассказ о Жизни в

Люксембургская тюрьма, где она

был заключен в тюрьму в 1793 году

и в 1794 году в компании мадам ла

Maréchale Duchesse de Mouchy.

Последние два года, в течение которых я разделял несчастья месье и мадам де Муши, изобиловали для меня такими драгоценными моментами, что, чтобы сохранить память о них (не для себя, — для меня они всегда рядом, — но для тех, кто рядом со мной), я рассказываю как очевидец печальные обстоятельства, при которых они проявили благородство своих душ и прекрасный дух, с которым они переносили свое заточение.

Я надеюсь, меня простят за то, что я часто говорю о себе, когда говорю о них, и за то, что я говорю "мы", когда я должен говорить о месье и мадам Маршаль; но я могу сказать, что их интересы стали моими, что мое существование из-за моей привязанности к ним настолько зависело от них, что все, что я думал и чувствовал, было общим с ними. Я был очень осторожен в этом вопросе, потому что они относились ко мне с таким почтением, что это часто смущало меня. Они думали, эти уважаемые друзья (да простится мне такое выражение), что они в долгу

передо мной; но они ошибались. Я никогда ничем так не гордился, как тем, что прислуживал им в тюрьме. Пусть никто не хвалит меня за это; я не заслуживаю похвалы.

Мадам де Дюрас в своих мемуарах рассказала о жизни, которую вели ее достопочтенные родители в Муши. Я не могу выразить то отчаяние, в котором они пребывали, когда ее у них забрали; они отказывались принимать какую-либо пищу. Я провела всю ночь рядом с мадам де Муши, которая только и делала, что плакала и стенала из-за потери своей дорогой дочери, так она всегда называла ее. Через десять дней после ее отъезда прибыл отряд примерно из шестидесяти вооруженных людей с некоторыми представителями муниципальных властей и комиссарами Комитета общей безопасности, получивший приказ искать повсюду некоторое количество оружия, которое, как утверждалось, было спрятано в замке, и арестовывать любого, кто вызовет подозрение. Они нашли только один пистолет, но изъяли несколько документов о праве собственности, которые *féodiste*^[12] оформлял с целью доставки их в указанное место хранения. Комиссары были в ярости и посадили его в тюрьму. Они обошлись с его женой, находившейся в тяжелом состоянии, самым бесчеловечным образом и отобрали свои значки у муниципальных служащих, которые, как они заявили, были с ним в сговоре. Они угрожали всей деревне и говорили, что сожалеют, что не привезли гильотину и не отрубили головы каждому горожанину. Они разграбили и почти снесли некоторые части замка. Члены комиссии потребовали показать несколько свинцовых гробов, которые должны были находиться в склепе часовни. После долгих поисков они нашли три из них. Этот захват их не удовлетворил; они думали, что в гробах были спрятаны деньги, но они ошиблись в своих подозрениях. Они вынудили муниципальные власти, хотя и не в соответствии с их обязанностями, помочь в поисках. Последние были напуганы почти до смерти.

Ужас в деревне был настолько велик, что никто не осмеливался выйти из своего дома. Ночь была еще более ужасной. Крестьяне, составлявшие нашу охрану, опьянели от вина, которое нашли в погребе, и стреляли из ружей под окнами домов; мы думали, настал наш последний час. Наконец, после трех дней поисков, главный комиссар наложил печати, изъял все серебро, сославшись в качестве предлога для этого на тот факт, что на некоторых блюдах были гербы, составил *протокол* и разрешил нам упаковывать вещи только в присутствии тюремщиков, чтобы они могли увидеть, что мы унесли с собой. Они вернули муниципальным служащим значки и решили забрать *феодиста* с собой. Его жена была брошена из-за своего состояния. Мы были так несчастны в течение всех трех дней, проведенных под присмотром этого отряда, что, каким бы невероятным это ни казалось, нам не терпелось поскорее добраться до тюрьмы, в которую мы были обречены. Представьте себе двор, заполненный фургонами, в которых нас должны были увезти, две большие телеги, нагруженные документами о праве собственности, гробами, часами, несколькими старыми картинами, сундуками и другими вещами; останки мертвых, разбросанные повсюду; куски дерева, разрозненные бумаги и прочий мусор; оборванных сельских гвардейцев с испуганными лицами, и вы сможете составить некоторое представление о состоянии Муши в момент нашего отъезда с главным комиссаром, который заставил нас остановиться в Сен-Брайсе достаточно надолго, чтобы он навел справки о нескольких людях поблизости, после чего он вернулся к себе. был доволен своими открытиями. По дороге мы много разговаривали и выяснили, что они собирались отвезти месье и мадам де Муши переночевать в их собственном доме, делая вид, что в Ла Форс в столь поздний час для них невозможно достать даже самое необходимое. Мы добрались до отеля "Муши" в два часа ночи.

Комиссар оставил их там на два дня, в течение которых были поданы заявления в Комитет общей безопасности, который распорядился приостановить проставление печатей в доме. Янон, комиссар участка Гренель, на которого была возложена эта обязанность, заметил, что делать этого не стоило, потому что не было надлежащих подписей. Его попросили подождать, пока подписи не будут получены. К сожалению, члены комитета ушли ужинать и не собирались до вечера; тогда наш комиссар (человек по фамилии Брот) не захотел слушать дальнейших уговоров и заявил, что он поступил неправильно, не выполнив своих приказов раньше. Он поставил печати, и в десять часов вечера мы отправились в путь в карете. Кучер заблудился и отвез нас на улицу Сен-Виктор, где находился дом предварительного заключения. Был почти час дня, когда мы добрались до Ла Гран Форс; тюрьма для мужчин находилась отдельно от женской.

Когда было предложено оставить месье де Муши в первом и отвезти нас в Ла Петит Форс, я думала, что мадам де Муши умрет на месте; и когда ей пришлось расстаться со своим мужем, только силой ее можно было оторвать от него и увести в комнату, где девятнадцать женщин спали на жестких постелях из мешковины. Когда ее подвели к двери, привратники, недовольные тем, что их разбудили, колебались, принимать ли ее; но клерк приказал им это сделать. Она проплакала всю ночь напролет. Она вбила себе в голову, что не было никакой договоренности о том, что меня не арестуют, и, следовательно, мне нельзя было позволить остаться. Я сказал ей, что комиссар получил приказ от Комитета общей безопасности по этому вопросу. Он сразу же принес его мне. Я был в восторге от этой удачи, которая очень утешила мадам де Муши, которая сказала мне, что это помогло ей переносить свои несчастья. Нам сменили квартиру, и мы поселились в новой. Мы нашли в ней вдову мэра Касселя, чей муж был гильотинирован восемь дней назад. Она была в отчаянии. Я видел, как она проводила целые ночи на коленях у своей кровати, попеременно плача и молясь. Квартира находилась на верхнем этаже дома в квартале, отведенном для городских женщин, которые, хотя и находились в тюрьме, издавали ужасный шум примерно с пяти часов вечера в течение всей ночи. Они пришли повидать мадам де Муши, заверить ее в своей невиновности и попросить выплатить им деньги на гарнир. Утром она получила сообщение от месье де Муши, который предлагал ей отправиться вместе с ним в Люксембургскую тюрьму. Она ответила, что "с тех пор, как она рассталась с ним, она не переставала заявлять, что отдала бы все, что у нее было в мире, чтобы иметь возможность быть с ним, даже несмотря на то, что спала на соломенной подстилке".

Против такого соглашения были высказаны некоторые возражения, но они были преодолены. Когда я сообщил мадам Маршаль, что все улажено, она обняла меня и сказала: "Вы не могли бы рассказать мне ни о чем, что могло бы сделать меня такой счастливой, как это. Немедленно ступай и скажи ангелу-хранителю, который позволяет мне воссоединиться с месье де Муши, что я никогда не забуду счастья, которое он мне подарил."

Комиссар Брот, который был очень строг к нам в Муши, стал более снисходительным. Именно он добился нашего перевода в Люксембург. Мы отправились в La Grande Force на встречу с месье де Муши. Никогда еще воссоединение не было таким трогательным; даже тюремщики были тронуты этим зрелищем, как и комиссар Брот.

Мы почти радостно отправились в Люксембург. (Великий Боже, как мало кто может сказать, чему он рад.) Наш проводник оставил нас в комнате смотрителя. Мы оставались там с пяти часов до девяти. В этой квартире произошла ужасная сцена: знаменитый Анрио, генерал

парижской армии, пришел со своей флейтой искать патриота, который был несправедливо заключен в тюрьму в Кане, а затем доставлен в Париж. Он выпил много вина на большом обеде, где гости отпускали ужасные шутки в адрес аристократов, говоря с грубым смехом: "Да, у нас должно быть двадцать тысяч голов этих существ". Нам пришлось подождать, пока они уйдут, прежде чем мы смогли узнать, где нас поселят. Номер, который нам выделили, раньше занимал Бриссо де Варвиль. Окно все еще было замуровано. Кровать мадам де Муши была установлена прямо над тем местом, где раньше стояла кровать ее матери (мадам д'Арпажон имела апартаменты в Люксембургском дворце, будучи фрейлиной королевы Испании мадам д'Орлеан), которая проживала там во время рождения мадам де Муши. Она часто рассказывала нам о том, что родилась в Люксембурге, вышла там замуж и добавляла: "А вам не кажется странным, что я здесь заключена в тюрьму?"

Хотя я на самом деле не верил в судьбу, которая действительно угрожала ей, эта речь заставила меня внутренне содрогнуться. День после нашего прибытия был полностью потрачен на то, чтобы наилучшим образом обустроиться на отведенном нам небольшом пространстве.

На следующий день приехал комиссар Бетремье, чтобы отвезти месье и мадам де Муши к ним домой, чтобы в их присутствии сломать печати. Они имели удовольствие встретиться там с мадам де Пуа и де Ноай. Все прошло очень хорошо; ничего подозрительного обнаружено не было. *Протокол* был составлен должным образом, и у нас были некоторые надежды, что им разрешат остаться в их собственном доме; но в тот вечер мы вернулись в Люксембург.

Там было пятьдесят три человека, которых они хорошо знали, поскольку они были из раздела о фонтане Гренель. Был отдан приказ о переводе женщин к англичанам; те из них, кто был женат, получили разрешение остаться.

Смотритель сказал мне, как мне сказали в La Petite Force, что он не может позволить мне оставаться в доме без разрешения комитета. Я сказал ему, что у меня это было для La Force; он очень правдиво объяснил мне, что это нельзя использовать в Люксембурге. Он посоветовал мне подать прошение о разрешении остаться и пообещал мне ничего не говорить, если я не получу ответа. Я отправил прошение, не получил ответа, и он ничего не сказал обо мне. Мы пробыли в этой комнате десять дней, когда комиссар Марино (довольно известный человек) вошел туда с одним из своих агентов. Я только что видел месье Бетремье и взял с него честное обещание прийти повидаться с мадам де Муши. Мы столпились вокруг него, чтобы спросить, есть ли у него надежда на освобождение. Марино сердито сказал ему: "Что ты здесь делаешь? Ты замышляешь какую-то пакость! Убирайся! Я задрожал от страха, опасаясь, как бы не скомпрометировал месье Бетремье. Этот ужасный человек продолжал тем же тоном: "Почему в этой комнате только три человека? Сюда нужно поместить пятерых", - и он нарисовал углем на камине цифру пять. Мадам де Муши сказала ему: "Гражданин, вы не думаете того, что говорите; пять человек не могут оставаться здесь". почему бы и нет?" "Я не хочу здесь никого, кроме моего мужа". "Я дам вам несколько стариков". "Я этого не допущу; дайте мне лучше другую комнату". "Я посмотрю, есть еще одна наверху". Он вернулся через полчаса и сказал, открывая дверь: "Я нашел очень красивую комнату с прекрасным коридором, где вы можете заниматься спортом". Я поднялась посмотреть на нее, а также на "прекрасный коридор", в котором было много больших балок, об которые можно было удариться головой. Эта комната использовалась месье де ла Марльером как кабинет. Место, где стояла печь, было недавно оштукатурено, а все стены закопчены. Невозможно представить себе более грязное место; мне потребовался целый день

и даже больше, чтобы привести его в порядок. В этой комнате была установлена печь, но огонь в ней нельзя было разжечь, когда ветер дул с юга.

Описание этой комнаты и ее мебели не будет лишним. С одной стороны дверного проема, справа, стояла моя кровать из мешковины, разложенная вдоль; я лег на нее в изножье. Кровать месье де Муши стояла рядом с моей, а кровать мадам - поперек. Под крышей стоял стол и кое-что из наших платьев; по другую сторону зарешеченного окна мы поставили дрова, два кресла, два обычных стула, еще один маленький столик, на котором лежали другие предметы одежды. Там было несколько дощатых полок для хранения нашей посуды, а один угол в коридоре был отведен под гардероб. Днем моя кровать служила кладовой, вечером - сиденьем; точно так же использовалась кровать месье де Муши. Мы провели пять месяцев в этом ужасном месте, где не пожелало бы жить самое нуждающееся существо во всем поместье месье и мадам Маршаль. Их добродетели поддерживали их в удивительной степени; они были примером и утешением для всех, кто их видел. Их мягкость и доброта были неизменны.

Я часто видел людей, приходящих в дом в отчаянии и совершенно ошеломленных тем, что оказались в таком месте. Господа де Николаи и де Лаборд были настолько потрясены, что не могли говорить. Мои почтенные друзья утешали их, подбадривали и побуждали прийти к ним за поддержкой и силой. Когда прибыли администраторы в надвинутых на глаза фуражках, чтобы спросить: "У вас нет прошений для отправки?" - "Нет, гражданин; только если бы вы могли перевести сюда мою дочь, которая находится в Шантийи, я был бы чрезвычайно рад". Один из них сказал: "Да, это следует сделать с учетом их возраста". Однако никаких шагов в этом направлении предпринято не было до прибытия Дантона, Лакруа и других.

4 декабря 1793 года комиссар Бетремье приехал, чтобы отвезти месье и мадам де Муши в Муши, чтобы присутствовать при вскрытии печатей; они пробыли там три дня и немного подышали свежим воздухом. В течение этого времени они безуспешно пытались добиться разрешения посетить свой дом в компании зрителей; им также не удалось получить разрешение повидаться со своей дочерью в Шантийи, поскольку они возвращались в Париж. В конце концов комиссар отвез их в их собственный дом, где они провели день со своими невестками. Вечером они были вынуждены вернуться в Люксембург. Это расставание было еще более тяжелым, чем предыдущие; немногие слуги, оставшиеся в доме, закрыли лица руками и заплакали.

Мы вернулись к прежнему образу жизни. Наши дни проходили следующим образом: месье де Муши вставал первым, в ранний час, зажигал свечу, читал молитвы и выпивал немного кофе; затем вставала мадам де Муши и завтракала. Как только она оделась, я пошел прислуживать мадам д'Отсфор, у которой они раньше жили, а потом вернулся и привел себя в порядок. После этого они вышли из комнаты, чтобы дать мне время привести ее в порядок. В этот час они всегда ходили навестить мадам герцогиню Орлеанскую и всегда уходили, преисполненные восхищения ее ангельским поведением. Они никогда не переставали восхвалять ее — свидетельство их собственной доброты. Они вернулись к себе домой около половины первого; в час им прислали обед из их собственного дома. Они никогда не приступали к этой трапезе без того, чтобы не поговорить о мадам де Дюра, тоскуя по ней и горюя о том, что не могут разделить ее с ней, зная, что у нее такая скудная пища. Затем приходили какие-нибудь посетители; после этого месье и мадам де Муши отправлялись обедать к соседям, а по возвращении вместе играли в пикет. Затем месье де Муши прошелся по дому. Около пяти часов собралась компания.

Гостей иногда было слишком много для размеров нашей квартиры, а также для моего душевного спокойствия, поскольку я знал, что вокруг нас много шпионов. Человеком, который был для меня самым большим источником беспокойства, был принц Гессенский, который жил неподалеку от нас и неизменно расхаживал взад-вперед перед нашей дверью всякий раз, когда у нас собиралось несколько наших друзей. Его даже видели приложившим ухо к двери, пытающимся расслышать, о чем мы говорим. Он донес на одного из надзирателей, который доказал ложность обвинения и, к моей великой радости, перевел его в другую тюрьму. В восемь часов все ушли, и мы поужинали. Всякий раз, когда мы получали какие-либо газеты, они обычно приходили в этот час. Ближе к концу я попытался заранее выяснить, принадлежали ли содержащиеся в них имена жертв тем лицам, которых месье и мадам де Муши больше всего боялись увидеть в списке приговоренных; если да, то я отложил их до следующего дня. В десять часов мы все были в постелях.

В месье и мадам де Муши произошла большая перемена. Он от природы был чрезвычайно жизнерадостным, а она очень тихой; теперь он стал спокойным, а она чрезвычайно беспокойной, особенно когда в определенные дни она не получала обычных сообщений, которые ее дочь с таким трудом отправляла, и когда лица, поступающие в тюрьму, приносили всевозможные недостоверные новости. Дворяне, в частности, всегда были оптимистичны. Я видел, как они строили планы кампаний, которые привели бы Кобуру в Париж и даже к самым дверям их тюрьмы, чтобы с триумфом проводить их по домам. Эти несчастные убаюкали себя ложными надеждами, лежащими так далеко, и никогда не замечали пропастей, которые зияли у них под ногами.

В то время, когда нам разрешали выходить во двор и разговаривать с нашими друзьями через зарешеченное окно, каждый из них возвращался и говорил: "Я видел свою жену (или мою дочь, или мою служанку), которая не могла полностью объяснить, что с ней происходит, но по крайней мере руки заверила меня, что все идет хорошо". Если в саду видели какого-либо выдающегося человека, подававшего малейший сигнал любого рода, этого было достаточно, чтобы пробудить надежду. Я, конечно, не разделял надежды большинства заключенных; на самом деле, это пугало меня. Временами я пытался убедить их, что они слишком оптимистичны; но впоследствии я упрекал себя за то, что позволил себе сделать это, поскольку заблуждение было для них необходимостью. Некоторые люди вводили себя в заблуждение настолько, что даже находили, что существуют некоторые причины, по которым их друзья и знакомые должны быть осуждены, но были уверены, что их следует освободить. Месье и мадам де Муши были не из таких; напротив, они считали свое положение очень критическим. Была сделана одна вещь, которая встревожила нас всех: Комитет общей безопасности разослал народные поручения, содержащие вопросы, на которые заключенные должны были ответить. Эти вопросы были чрезвычайно придирчивыми. Я думаю, что могу точно вспомнить их, а также ответы месье де Муши.

По Приказу Комитета общей безопасности,

заключенные будут отвечать правдиво и максимально кратко

по возможности следующие вопросы:—

ВОПРОСЫ.

Ваше имя?

Вашего возраста?

*Где вы жили до и после начала
Революции и с тех пор?*

*Вы женатый мужчина? Если да, то как
давно вы были женаты?*

*Количество ваших детей, их возраст
и местонахождение?*

*Ваша профессия до и после
революции?*

*Стоимость вашей собственности до
и после революции?*

*С кем вы общались до и после
революции?*

*Разве вы не подписывали резолюции,
унижающие свободу?*

Что вы сделали для Революции?

Мадам де Муши добавила: —

"Прожив со своим мужем пятьдесят два года, я не придерживалась мнения, отличающегося от его".

[Далее следовали их подписи.]

Нам с большим трудом удалось убедить месье де Муши согласиться ответить на вышеупомянутые вопросы; сначала он категорически отказался, заявив, что никогда не сделал бы ничего столь отвратительного. Я консультировался с разными членами его семьи и некоторыми из его товарищей по несчастью, которые сказали, что для него было невозможно избежать ответов на вопросы, и что данных ответов, которые я только что записал, было вполне

ОТВЕТЫ.

Noailles Mouchy.

Мне семьдесят девять лет.

В Париже, на Университетской улице, а с 9 сентября в Муши с моей женой и дочерью.

Я женат пятьдесят два года на Анне Клод Луизе д'Арпажон.

Трое детей: одна дочь сорока девяти лет, замужем за бывшим герцогом де Дюра, а ныне заключенная в Шантийи; Филипп де Пуа, сорока лет, покинувший Францию, чтобы спасти свою жизнь, поскольку за его голову была назначена награда; Луи Ноай, тридцати семи лет, покинул Францию со всеми необходимыми в то время паспортами и сейчас находится в Северной Америке.

Я был солдатом с юности; и я дослужился до звания маршала Франции.

Мой доход до революции составлял более ста тысяч ливров; в течение двух лет одно из моих поместий в Лангедоке находилось под арестом под предлогом того, что я эмигрировал (хотя было доказано, что это не так), по приказу Комитета общей безопасности. Субсидии и вынужденный заем, по условиям которого я только что был вынужден отказаться от значительной суммы, лишают меня возможности дать какую-либо правильную оценку.

С моими родственниками как до, так и после.

Я никогда не подписывал никаких резолюций.

Все, что от меня требовалось.

достаточно. По их словам, всегда были какие-то и так далее. Некоторые люди, о которых я говорил, которые всегда были слишком оптимистичны, думали, что допросы ускорят акты освобождения; но, напротив, нас недолго оставляли в покое, и жестокое обращение усилилось. Затем вспыхнул заговор, организованный Винсентом Саваром и Грандмоном (который, я полагаю, был единственным реальным). Тогда нам запретили гулять во дворе или получать газеты; и мы были крайне ограничены во всех отношениях. Через некоторое время нам снова разрешили брать газеты, но гулять нам больше не разрешалось, разве что по галереям, где невозможно было ступить шагу, не столкнувшись друг с другом. Было привлечено так много людей, что все места были полны, хотя многих отправляли в трибунал каждый день.

Прибыли Дантон, Лакруа, Камиль Демулен и др. В шесть часов в нашу дверь постучали, и нам сказали готовиться к переезду. Надзиратель сказал мне: "Поторопись! приезжают несколько замечательных людей, и нам нужна эта комната как место строгого заключения. "Я спросил его, где находится комната, которую нам должны были предоставить; он не знал, но сопровождавший его тюремщик проводил меня туда. По мнению месье и мадам де Муши, он был достаточно велик, чтобы вместить их дочь, если бы ее можно было привезти в Люксембург. В нем был камин, который доставлял мне бесконечное удовольствие всякий раз, когда я видела, как месье де Муши греется перед ним; потому что он мерз в течение пяти месяцев, поскольку у нас была только одна маленькая печурка, от которой у него болела голова всякий раз, когда в ней разжигали огонь.

5 апреля 1794 года, примерно через две недели после того, как мы обосновались на нашем новом месте жительства, из Шантийи прибыл конвой. Месье Рандон де ла Тур, который был в компании, пришел очень рано утром, чтобы сообщить нашей уважаемой пожилой чете, что мадам де Дюра находится в Париже и положительно получила приказ прибыть в Люксембург в течение дня. Они были в полном восторге. Но прошел целый день, а она не пришла; и мы узнали, что она была в Плесси. Мы надеялись, что она находится там лишь временно; поскольку она все еще не приехала, мы направили администраторам самые срочные петиции о ее переводе. На нас возлагали надежды, но Провидение распорядилось иначе; и если бы наши молитвы были услышаны, ее бы сейчас не было в живых. Однако через некоторое время мы снова начали надеяться. Однажды человек по имени Верне сказал мне таинственным тоном: "Среди ваших знакомых есть кое-кто, кого гражданин Муши был бы рад видеть". Я сказал: "Конечно, это должна быть гражданка Дюрас". (Он знал, что ее отец попросил отправить ее сюда, поскольку сам отнес два послания в Комитет общей безопасности.) Верне ответил: "Я не могу сказать, там несколько человек". Я побежал пересказать разговор месье и мадам де Муши, которые не сомневались, что это была их дочь с другими дамами, чьи мужья были в Люксембурге и которые просили разрешить им присоединиться к ним. Мы обставили комнату так, чтобы можно было поставить для нее кровать; и, к нашему удивлению, после целого часа ожидания вошли мадам маршаль де Ноай, мадам герцогиня д'Айен и мадам виконтесса де Ноай. Месье де Муши был совершенно расстроен этим. Он сильно простудился, и у него сразу поднялась температура. Он очень опасался неосторожности своей невестки, которая была очень легкомысленной. Он сказал, что для него не может быть ничего более неприятного, чем находиться с ней так близко. Эти дамы рассказали, как после того, как их перебрасывали из тюрьмы в тюрьму, они с большим трудом добились разрешения на отправку в Люксембург, чтобы быть рядом с ним. Их разместили над нами *вантресоли*. Вскоре квартира была готова. Мебели было очень мало, и я взялся расставить ее; худших кроватей я в жизни не видел. Эти дамы, как и большинство заранее осужденных, вошли в тюрьму, совершенно уверенные в

скором возвращении на свободу. Как обычно, сторожа оставили каждому из них всего по пятьдесят франков; им посоветовали запастись побольше наличных. У мадам Маршаль было тысяча двести франков, а у виконтессы, ее внучки, двести франков. Им сказали, что этого хватит на их расходы в течение месяца. Этих денег им хватило ненадолго, так как все они были забраны вскоре после хорошо знакомого общего поиска. Ниже приводится подробный отчет о том, как проводился наш поиск. Утром, открыв ставни в своей комнате, я увидел во дворе вооруженного охранника — необычное обстоятельство. Я вышел в коридор за дровами, которые были сложены там, и обнаружил четырех мушкетеров у нашей двери с тюремщиком, который сказал: "Возвращайтесь в свою комнату, гражданин". Я сказал: "Я не уйду; я иду за дровами". "Возвращайтесь, говорю вам". Я повиновался, дрожа и опасаясь, что с месье и мадам Маршаль что-нибудь случится. Я подошел к кровати мадам Маршаль и сказал ей как можно тише: "Я не знаю, что происходит, но во дворе и в коридоре есть охранники, и тюремщик не разрешил мне принести дров". Она ответила: "Мне показалось, я их слышала. Боже мой! что это может быть? Я вернулся к окну и увидел, что в павильоне напротив тоже были мушкетеры, что несколько успокоило меня. Я пришел к выводу, что это была общая договоренность для всего дома. У нашей двери были выставлены двое часовых, и я попытался с ними поговорить. Один добродушный парень, которому я украдкой подал бокал вина, сказал мне вполголоса: "Мы не знаем, зачем мы здесь. В секцию Обсерватории был отправлен приказ встать сегодня в три часа утра; нас привели сюда и приказали ни с кем не разговаривать и вообще никому не позволять выходить из квартир. "Мы не очень много узнали из этого интервью. Я предпринял десять попыток подняться наверх, чтобы повидать мадам де Ноай, но мне всегда мешали. Никому не разрешалось входить в дом; ужин приносили только в пять часов вечера. Мы расспросили сторожей, но они сказали, что ничего не знают. Нам пришлось лечь спать, так ничего и не выяснив о том, что происходит. Часовые оставались у наших дверей всю ночь, или, скорее, четыре дня, поскольку мы были одними из последних, кого обыскивали; и мы не имели связи с нашими соседями до второго дня, когда один из них тихонько постучал в неиспользуемую дверь, которая вела в нашу квартиру, и сказал нам, что проводится очень строгий обыск, что деньги, ножницы, ножи и т.д. были похищены. Мы сообщили об этом месье и мадам де Буажелентаким же образом. Мужчина, который прислуживал им, накануне вышел за водой и не вернулся.

Наконец я получил разрешение навестить мадам де Ноай; достопочтенная виконтесса заправила постели, вымыла посуду и, несмотря ни на что, пребывала в прекрасном расположении духа. Она шутила по поводу своих трудов, которые были довольно обширными, тем более что глухота трех дам часто приводила к тому, что они неправильно понимали друг друга. Ночью она привязала один конец веревки к своей руке, а другой - к кровати своей бабушки, чтобы та могла разбудить ее, если понадобится ночью. Она перевязала ее, занялась нарывом, который был у нее, а также у ее матери. У нее едва хватало времени дышать, и ее рвение удерживало ее вместо природной силы. Я, как уже сказал, получил разрешение пойти и прислуживать ей. У меня было много дел, поскольку я оказывал те же услуги месье и мадам де Буажелен.

Наконец, на четвертый день, в одиннадцать часов утра, подошла наша очередь подвергнуться обыску. Часовых сняли накануне, в десять часов вечера. Месье де Бакенкур, который жил в нашем квартале, воспользовался первой же возможностью, чтобы прийти и рассказать нам, что обыск был ужасным, что заключенный заверил его, что его полностью раздели, что он сначала спрятал свои *ассигнации*, но потом показал их, поскольку предпочел все отдать, чем попасть в

беду. Мысль о том, что нас разденут и обыщут, очень беспокоила нас, но выхода из этого не было.

Все произошло так, как он предсказал; муниципальные власти и стража порядка произвели обыск. Когда они подошли к *ассигнациям*, я сказал: "Граждане, вы не собираетесь их пересчитать?" Один из них презрительно ответил: "Нам не нужно их пересчитывать, чтобы победить врагов Республики". "Я уверен в этом, - ответил я, - потому что их нельзя победить с помощью бумаги". Мадам де Муши сделала мне знак замолчать. Восемь или десять дней спустя комитет распорядился, чтобы счета каждого заключенного были составлены заново. Это было сделано в квартире надзирателя. Затем мы вернулись к прежней жизни. Мы пытались привыкнуть обходиться без ножниц, но это было очень неудобно; и что было еще неприятнее, привратникам, которые раньше могли получать деньги за оказанные мелкие услуги, было запрещено больше этого делать, и это их очень злило. Говорилось также об учреждении общественного стола, что сильно огорчило мадам де Муши. Вскоре после этого была назначена комиссия для допроса заключенных; многие из них этого добивались. В день, когда было объявлено об этом, на галереях раздавались громкие крики "Да здравствует Республика!". Однако это произошло только два месяца спустя. Однажды примерно в то же время я сидел на работе, когда меня кто-то позвал. У двери я встретил тюремщика (уже не доброго Бенуа) с двумя ключниками, которые спросили меня:

- Что ты здесь делаешь? - спросил я.

- Я здесь уже шесть месяцев с гражданином Муши и его женой.

- Очень хорошо, но что вы здесь делаете?

- Я делаю для них все, что в моих силах.

- Где ваша запись в тюремной книге?

- У меня их нет; я пришел сюда добровольно.

- Значит, вас не арестовали?

- Нет.

- Вы их близкий друг?

- Да.

- Как тебя зовут? - спросил я.

Я поставил свою подпись. Я спросил его, почему он задает мне все эти вопросы. "Вы не собираетесь меня прогонять?"

- О нет! Документы Бенуа не оформлены должным образом, и я провожу перепись всех, кто находится в доме.

Мадам де Муши была очень взволнована во время этого допроса. Она успокоилась, когда узнала, что это всего лишь перепись населения; но я - нет. Я старался не показывать ей своего беспокойства, которое испытывал и которое было слишком обоснованным.

Однажды утром, примерно через месяц после этого, тот же тюремщик вошел в комнату мадам Маршаль и сказал ей: "Я пришел сообщить вам, что вы должны отослать своего доверенного слугу в течение двадцати четырех часов; я только что получил приказ". Она ответила: "Гражданин, я не могу без нее обойтись; я очень немощна, как и мой муж". Я спросила его, смогу ли я остаться, если стану заключенной. "Я не знаю". Я умолял его прислать к нам первого же начальника тюрьмы, который приедет в это место. Он согласился. Я послал за Верне, чтобы он заступился за меня. Мадам де Муши была так добра, что так горячо умоляла его оказать мне эту услугу, что я не мог удержаться от слез; она предложила отдать ему все драгоценности и *ассигнации*, которые у нее остались. Он ничего не принимал, но обещал сделать все, о чем мы просили, и ничего не сделал. Я передал ему петицию, которую написал в Комитет полиции, в которой самым серьезным образом просил зачислить меня в качестве заключенного. Я рассказал им о тяжелом состоянии месье и мадам де Муши, о том, как невозможно было оставить их одних, о том, как долго я был с ними, и добавил, что считаю республиканской добродетелью помогать страждущему человечеству. В то же время я попросил тюремщика разрешить мне дожидаться ответа; и я попросил Верне привести к нам администратора, что он и сделал на следующий день.

Это был Витрич, который впоследствии умер, со своим другом Робеспьером. Он сказал мне: "Мы прочитали вашу петицию. Вы очень добры, что прислуживаете этим старикам; но я не имею к этому никакого отношения. Приказ исходит от Комитета общей безопасности, и вы должны идти. Вам нужно только обратиться к ним с аналогичной петицией, и вы наверняка получите их разрешение вернуться." Я со слезами на глазах, в отчаянии, умоляла его разрешить мне остаться до следующего дня, и он дал мне это.

Я не могу выразить весь ужас нашего положения после этого жестокого приговора. Дорогая, почтенная пожилая пара, как сильно они страдали! Эта разлука, казалось, предвещала еще одну ужасную разлуку. Мы проплакали всю ночь напролет. Я была почти полна решимости остаться, что бы со мной ни случилось. Целых три дня моя дочь не отходила от двери, боясь услышать от дежурных, что я решила предпринять. Она ужасно боялась за меня. Заключенный, которого я не знал, подтолкнул меня к решению; он остановил меня и сказал: "Гражданка, я узнал, что вы не решаетесь уехать отсюда; я думаю, я должен сказать вам, что вы поступаете неправильно. Сегодня вечером вас внесут в тюремную книгу и, возможно, завтра отправят вдругую тюрьму; чем большую привязанность вы проявите к мадам де Муши, тем больше вас будут подозревать. Поверьте мне, вам лучше подчиниться. Несомненно, наступит более благоприятный момент, и вы сможете воссоединиться с ней; главное, скрывайте свои слезы, потому что за вами наблюдают". Я поблагодарила его и передала месье и мадам де Муши его совет. Затем они убедили меня уехать. Мы вместе посоветовались, что мне делать, чтобы мне разрешили вернуться. Надеясь на это, я оставил все свои вещи. Господа д'Энен и де Буажелен заверили меня, что разлука не будет долгой и что, как только я увижусь с комитетом, я смогу попросить, чтобы мадам де Дюра была отправлена к ее родителям; и они, несомненно, удовлетворят мою просьбу.

Когда настал роковой момент, я почувствовал, что для меня было бы совершенно невозможно сказать месье и мадам де Муши: "Сейчас я вас покину"; поэтому я сказал, что собираюсь повидаться с некоторыми заключенными, чтобы попросить у них что-нибудь передать. Все они сочувствовали моему горю. Мадам виконтесса де Ноай, младшая, обняла меня и разрыдалась. Я оторвался от нее и спрятался за дверь, чтобы попытаться прийти в себя. Когда я проходил по

галереям, все заключенные поздравляли меня; я, со своей стороны, хотел бы, чтобы все они были на моем месте. Когда я подошел к двери, мне показалось, что я упаду в обморок; я хотел войти и повидать сторожа, но надзиратель, у которого был ключ, помешал мне. "Берегись! - сказал он мне. - В его конторе есть клерк, который на тебя сердит; продолжай". Я не могу выразить все те чувства, которые охватили меня, когда я вышел на улицу; мое отчаяние оттого, что я расстался с месье и мадам де Муши, моя встреча с дочерью, свежий воздух, которым я не дышал семь месяцев, — все это сбilo меня с толку. Одно можно сказать наверняка: я не мог сказать, по каким улицам проходил по пути в отель Mouchy. Вместо того чтобы изобразить радость при виде своей дочери, я отвечал на все, что она говорила, только слезами.

Первое, что я сделал, это попросил месье Ноэля отправить мою петицию в комитет как можно скорее, что он и сделал. Ответа он не получил. Попасть на собеседование было невозможно. Я не знала, к кому обратиться. Мадам де Пуа находилась в отеле Муши под охраной. Она провела в заключении всего двадцать четыре часа из-за своей слабости. Она задавала мне много вопросов о своих выдающихся родителях, много плакала вместе со мной и все еще надеялась, что я смогу вернуться к ним. У меня была возможность встретиться с депутатами от моего округа, которые только что спасли моего брата от гильотины. Я подумал, что они тоже захотят оказать мне услугу. Однако я тщетно умолял их и получил от них только насмешку над моей привязанностью и самый решительный отказ. Наконец, получив отпор со всех сторон, мне ничего не оставалось, как подвергнуться аресту. Таков был мой план; я думал о нем непрестанно. Единственное, что мешало мне, - это почти полная уверенность в том, что меня отправят в какую-нибудь другую тюрьму, а не в Люксембургскую. Известия, которые я получал изо дня в день, были все более и более печальными. Месье де Муши написал мне: "Возвращайтесь к нам; мадам де Муши была так огорчена вашим отсутствием, что ее нарыв подсох, чего раньше никогда не случалось". В другой раз он сказал: "Мы не можем привыкнуть к вашему отсутствию и обходиться без вас. Два или три человека, которые прислуживают нам, как бы они ни старались, не могут выполнить за целый день то, что наш дорогой Латур обычно делал за два часа, и без труда".

Все это тронуло мое сердце. Я писал им каждый день и вселял в них больше надежды на мое возвращение, чем тешил себя. Я часто ходил туда, чтобы отнести им провизию, а также узнать, как у них дела, у отверженных, которые были со мной в хороших отношениях. Я тоже вышел в сад, где получил печальное утешение, увидев их в окне. Заключенные знали менятак хорошо, что, как только они видели меня, спешили рассказать моим друзьям. Их печальные и понурые лица разбивали мне сердце. Я не осмеливался подать им ни малейшего знака, поскольку за мной постоянно наблюдали. В последний день, когда я был там со своей дочерью, мужчина настойчиво преследовал нас и прогнал. Моя дочь была уверена, что нас собираются арестовать. Это был последний раз, когда я видел мадам де Муши. Два дня спустя месье де Муши прислал мне сообщение, что "у нее был тяжелый приступ несварения желудка, сопровождавшийся сильной рвотой всю ночь; что я нужен им больше, чем когда-либо". Он попросил меня прислать ему бутылку минеральной воды для нее, чтобы она принимала ее в качестве слабительного. В тот день, когда она приняла его, месье Маршаль написал мне в четыре часа дня, что слабительное ей совершенно не помогло, что мадам Маршаль не может принимать никакого питания и просит меня немедленно сделать ей укол. Я был чрезвычайно встревожен. Было слишком поздно, чтобы я мог с кем-нибудь поговорить, так как в пять часов все двери были закрыты. Я решил пойти к тюремщице рано утром следующего дня и узнать,

можно ли мне прислуживать ей; но тогда было уже слишком поздно. Все было бесполезно; приближался конец всем их бедам.

Только я легла в постель, как раздался громкий стук в дверь. Я дрожала, когда открывала ее. Я была удивлена, увидев месье Ноэля, который выглядел испуганным и сказал: "Сегодня вечером в Люксембург был отправлен гонец, чтобы узнать, там ли месье и мадам де Муши, и я не могу себе представить, что это значит". — Воскликнула я. - "Хорошо известно, что они в этом доме, и подобные расспросы излишни, если только, - добавила я, видя, что его волнение растет, - мадам Маршаль, будучи больной, не позвала меня снова, и какой-нибудь начальник тюрьмы не приходил справиться о ее состоянии". "Я надеюсь, что это может быть возможно". будь так, завтра рано утром я узнаю, в чем дело, и приду и расскажу тебе." Мы провели ночь в величайшем волнении, и я встал очень рано. Я пришла к месье Ноэлю домой в семь часов, но он уже ушел. Он пришел ко мне домой в слезах, или, скорее, кричал: "Это правда, - сказал он, - все кончено! Они в Консьержери. " Ничто другое, что я когда-либо испытывал в своей жизни, не может сравниться с тем, что я чувствовал в тот момент. Однако я не совсем потеряла самообладание; у меня оставалось достаточно сил, чтобы видеть, что бедный месье Ноэль был совершенно вне себя. Он так яростно бился головой о стену, что я действительно испугался, как бы он ее не раздавил. Когда первые минуты его отчаяния прошли, он сказал: "Я снова выйду; я пойду в Консьержери; я должен их увидеть!" "И я тоже пойду", - воскликнул я. "Нет, нет", - ответил он. "Мадам де Дюра там?" - "Я не смог узнать".

Он вернулся около девяти часов утра. - Ну, - сказал я, - вы что-нибудь слышали? Неужели нет никакой надежды?" - "Нет, нет", - вот и весь его ответ. "А мадам де Дюра?" - "Ее там нет". Он попросил меня пойти и сообщить печальную новость мадам де Пуа. Я была бы рада, если бы меня от этого избавили, потому что у меня едва хватало сил это сделать; но он снова ушел, и я была вынуждена пойти тоже. Она была в полном отчаянии. Месье Ноэль посоветовал мне уйти из дома, чтобы меня не вызвали в качестве свидетеля. Я бы этого не сделала. Я не знал, куда идти; я сказал, что предпочитаю умереть вместе с ними, а не вслед за ними. Наконец меня уговорили пойти в дом одного из моих друзей.

Однако, прежде чем уйти, я попросил их отнести ужин в Консьержери. Не исключено, что эти драгоценные жертвы останутся там на несколько дней. Они отправили его обратно со своей благодарностью, но нетронутым.

В пять часов вечера я вышел из дома моего друга, будучи больше не в силах сопротивляться желанию услышать, что происходит; я встретил свою дочь, идущую навестить меня. Ее взволнованное лицо подтвердило мои опасения. Я встретила месье Ноэля; проходя мимо, он не сказал мне ни слова, ни я ему. Мы даже не осмелились взглянуть друг на друга. На следующий день я снова пошел навестить мадам де Пуа, вся внешность которой совершенно изменилась. Она потеряла не только своих выдающихся родителей, но и мадам де Бирон, свою близкую подругу детства. Она любезно спросила меня, что я собираюсь делать. "Ничего, - ответил я, - не жду своей участи здесь". Я подумал, что, поскольку не смог разделить участь месье и мадам де Муши, мне, возможно, будет позволено последовать примеру мадам де Дюра, полагая, что никто из нас не избежит смерти. Мадам де Ноай написала мне через три или четыре дня после нашей утраты записку, которую я безутешен из-за того, что сжег, но я был вынужден это сделать. В нем содержалось такое трогательное описание того, как месье и мадам де Муши вспоминали меня в свои последние минуты, и выражения сочувствия мадам де Муши к моему

горю, несмотря на все ее собственные страдания, что это впервые заставило меня расплакаться. До тех пор я был как камень.

В течение десяти дней после смерти моих уважаемых хозяина и хозяйки я был призван оплакать всех их знакомых в Люксембурге, которые проявили ко мне много доброты, среди них мадам д'Отсфор, мадам де Ноай и другие. Двадцать дней спустя мы послали мадам де Дюра немного белья, которое не было получено; это напугало нас из-за нее, потому что мы боялись, что ее там больше нет. И, наконец, я испугалась за себя. Я испытывал величайший из возможных страх перед смертью. Я боялся, что у меня никогда не хватит смирения вынести последние двадцать четыре часа; но я надеялся, что мое мужество не покинет меня в мои последние минуты, если я смогу быть с теми, от кого я смогу получить утешение. Приготовления к казни заставили меня похолодеть от страха. Я почувствовала, что мужество, которое позволило бы мне вынести все в обществе месье и мадам де Муши, покинуло меня. С другой стороны, было странно, что я испытывал такой ужас перед смертью, будучи в остальном совершенно безразличным к своей судьбе. Мои родственники и друзья жалели меня не только из-за потери, которую я только что понес, но и из-за моего финансового положения, зная, что у меня совсем нет средств. Я ответил, что меня это несколько не касается. Мои мысли постоянно возвращались к тому, что однажды сказал мне месье де Муши: он поблагодарил меня за небольшую услугу, которую я ему оказал, и добавил: "Бог вознаградит тебя, мое дорогое дитя, за все хлопоты, которые ты для меня предприняла. Я уверен, что ты никогда ни в чем не будешь нуждаться."

Несмотря на все мое безразличие к судьбе, я был вынужден попросить вернуть мне мебель из моей комнаты, за которую я должен был заплатить четыреста франков, с гарантией от месье Ноэля. Мы покинули этот дом после того, как испили чашу горя до дна, увидев, что вся мебель разграблена и брошена в полный беспорядок. Уполномоченные получили из наших рук все, что принадлежало месье де Муши и мадам Маршаль, обойдясь с вещами самым оскорбительным и неприличным образом.

Робеспьер был обезглавлен. Мадам де Дюра была освобождена 16 октября 1794 года. Но, о, как она изменилась! Было ужасно видеть ее. Она казалась, как она сама говорила, восставшей из мертвых. Несмотря на перенесенные испытания, было очевидно, что ее мужество не иссякло. Ее первой мыслью, а также мыслью мадам де Пуа, когда я снова оказался на свободе, было убедиться, что у меня есть средства к существованию, и изыскать все способы оказать мне помощь.

12. *Феодиста* [стюарда] звали Карбонье. Он, а также его жена доказали самую искреннюю привязанность и верность месье и мадам де Муши. Он просидел целый год в тюрьме "Англиз" и "Гранд Форс".

СОБЫТИЯ 21 ИЮЛЯ 1794 ГОДА.

Отчет месье Греле.

Это было 21 июля 1794 года (2 Термидора II года); в половине восьмого вечера я направлялся в Люксембург, чтобы отнести мадам де Ноай сверток с кое-какой одеждой. Дойдя до нижнего

конца улицы Турнон, я увидел перед дверью этой тюрьмы огромную толпу мужчин и женщин, что заставило меня очень встревожиться. Я отнесла свой узел в лавку на этой улице, где остановилась молодая женщина, которая была подругой камеристки мадам герцогини д'Айен, и направилась к тюрьме.

Когда я оказался в толпе, мне было нетрудно понять, что происходит, особенно когда я увидел большой открытый фургон со скамейками, прикрепленными по бокам. Я сразу понял, что это место для приема заключенных, которых должны были перевести в Консьержери, чтобы на следующий день обезглавить; эта мысль заставила меня вздрогнуть. У меня было предчувствие, что дамы, которыми я интересовался, окажутся среди жертв. Мне не терпелось увидеть, как уводят заключенных, и я подошел к двери так близко, как только мог. Вышел надзиратель и, увидев меня, сказал: "Уходи, они идут".

Я не уходил. Я думал, что вижу этих дам в последний раз, и эта печальная мысль приковала меня к месту. Надзиратель вошел снова. Вскоре дверь открылась, и появились заключенные в сопровождении двух жандармов. Первой из дам вышла мадам виконтесса де Ноай. Она прошла совсем рядом со мной, взяла мою руку и нежно пожала ее. Шедший рядом с ней жандарм помог ей забраться в повозку. Мадам д'Айен и мадам Маршаль вошли сразу же после нее. Один из жандармов видел, как мадам де Ноай подавала мне руку. Затем в зал вошли еще пять или шесть дам и столько мужчин, сколько вмещалось. Я отошел и попытался затеряться в толпе. Однако мадам де Ноай все еще видела меня, потому что фургон еще не тронулся. Поскольку он не вмещал всех заключенных, около пятнадцати из них последовали пешком в сопровождении жандармов. Пока делались все приготовления к этому переводу, мадам де Ноай, которая снова узнала меня, сложила руки, сделала мне знак помолиться и показала, что она молится. Мгновение спустя она подняла голову и, указав одним пальцем на небо, дала мне свое благословение. Толпа недоумевала, кому были адресованы ее жесты; и я смотрел, как это делали другие, стараясь вести себя так, как будто они были адресованы не мне. Мадам де Ноай сообщила своей матери, что я был рядом с фургоном. Мадам д'Айен поклонилась и несколько раз поцеловала мне руку. Я не мог обратить на это никакого внимания; одних таких жестов было бы более чем достаточно, чтобы скомпрометировать меня.

Наконец, после получаса, потраченного на приготовления, повозка тронулась и поехала по улице Конде. Я последовал за ней до Консьержери. Примерно на середине этой улицы, в ее очень узкой части, я мог почти одновременно дотронуться и до домов сбоку, и до фургона. Мадам де Ноай, которая никогда не теряла меня из виду, трижды благословила меня — по одному для каждого из своих детей. Я продолжал следовать за повозкой, как следовал бы за похоронной процессией людей, чья смерть должна была повергнуть так много семей в такое ужасное горе.

Когда я пересекал Новый мост, фургон был недалеко и как раз поворачивал на набережную Люнет, жандарм крикнул мне в спину: "Я вас арестовываю, я вас знаю". Я не дал ему возможности арестовать меня, а побежал по набережной Люнет. Жандарм последовал за мной; я побежал по улице Арле, которая пересекает Дворцовый остров. Жандарм был далеко позади меня и кричал: "Остановите его!" Было восемь часов, как раз в тот час, когда рабочие выходили из своих мастерских. Они подумали, что я сбежавший заключенный; некоторые пытались остановить меня, но я отогнал их своей тростью. Дойдя до набережной Орфевр, я упал, и меня схватили двое рабочих; жандарм перехватил меня, и я больше не делал попыток убежать.

Подошел человек, представившийся мировым судьей, и спросил жандарма, за что он меня арестовал. Жандарм ответил, что я интриговал с заключенными. Я думал, что бесполезно пытаться защищаться. Когда жандарм вез меня в префектуру полиции, я увидел на некотором расстоянии мадам де Ноай и других заключенных, направлявшихся в тюрьму Консьержери.

Меня поместили в темницу, где было маленькое окошко, пропускавшее лишь несколько лучей света. Я воспользовался этим, чтобы уничтожить некоторые бумаги, которых было бы достаточно, чтобы скомпрометировать меня. К счастью, у меня сохранилось мое *меню на завтрак*, которое было у меня всего несколько дней. Я только что разорвал и уничтожил бумаги, часть из которых проглотил, когда дверь открылась и на пороге появился тюремщик, который угрожающим тоном приказал мне следовать за ним. Проведя меня по нескольким темным коридорам, он запер меня в очень маленькой темнице, запертой железной дверью, через которую не проникал свет. Эта темница была круглой по форме и чрезвычайно маленькой. У стены стояла каменная скамья. Войдя, я увидел при свете лампы, которую нес тюремщик, что-то блестящее на полу. Когда дверь темницы закрылась за мной, я оказался в полной темноте. Я пошарил вокруг, чтобы выяснить, что вызвало вспышки света, о которых я говорил. Я обнаружил, что они исходили от каких-то осколков стекла, которые находились на краю очень маленького отверстия, проделанного в стене. Я сел на каменную скамью и начал размышлять о своем положении, о положении мадам де Ноай, которую я только что видел в последний раз, и об их бедных детях, которые ждали меня перед тем, как отправиться на вечернюю трапезу. Тогда я осознал весь ужас своего положения. И когда я подумал обо всем, что должно было произойти на следующий день, я упал на колени и помолился Богу со всем пылом, на который был способен. Я умоляла его принять жертву моей жизни во искупление моих грехов; ибо я ожидала, что погибну на следующий день. Но что станет с этими тремя детьми? Каким ужасным горем было бы для их матери и бабушки увидеть, что меня приговорили вместе с ними! "Боже мой, - молился я, - помилуй детей, помилуй их матерей и помилуй меня!"

Я был совершенно поглощен этими печальными размышлениями, когда дверь с громким шумом отворилась. Я резко поднялся, не зная, что может произойти. Там снова был тюремщик со своим фонарем, а с ним офицер жандармерии. "У вас есть ваш *выбор*?" - спросил тот меня. Я ответил, что есть. "Дайте это мне". "Вы позволите мне, - сказал я, протягивая ему это, - рассказать вам, что произошло и почему я здесь?" "Да, вы можете рассказать мне". Я в нескольких словах рассказал, как я случайно оказался перед Люксембургской тюрьмой, когда оттуда выходили заключенные, которых должны были отвести в консьержери; что одна из них, проходя совсем рядом со мной, узнала меня и пожала мне руку, но что она не сказала мне ни единого слова, так же как и я ей; и что это было все, что прошло. Внимательно выслушав меня, он ушел, прихватив с собой мою *карту*; но он велел поместить меня в более удобное помещение.

Мое беспокойство возросло, когда я увидел, что он унес мою *карточку*, поскольку на ней был указан мой адрес; и я был уверен, что они немедленно отправятся в отель "Ноай-Муши" на Университетской улице, где находились мои ученики Альфред и Алексис. "Они обыщут весь Отель", - сказал я себе. "Они найдут всю мою переписку с мадам де Ноай во время ее заключения; и поскольку в этих письмах много скрытого, они наверняка обнаружат в них всевозможные интриги, связанные с люксембургским заговором, о котором республиканцы и революционные судьи уже поднимают столько шума". Это правда, что я очень старался скрыть эту переписку. Я посвятил Алексиса в тайну места, где я его запер, и поручил ему убрать его с

глаз долой, если он увидит членов комиссии или каких-либо посторонних, приближающихся к отелю. Мы занимали квартиру их отца, виконта де Ноайля, окна которой выходили на улицу, напротив главного входа. Хотя эта мысль несколько успокоила меня, мое беспокойство продолжалось, тем более что офицер не возвращался, а было уже очень поздно. Я больше не сомневался, что он должен был нанести визит в отель "Муши". "Но даже если он ничего не найдет, - сказал я себе, - сможет ли спастись тот, кто однажды попал к ним в руки?"

Таково было мое беспокойство, когда офицер вернулся и сказал эти несколько слов, которые я никогда не забуду. - Вот твоя *карта*. Теперь иди, и в другой раз не подходи так близко. - Я не стал дожидаться, пока он скажет что-нибудь еще. Я забрал свой *картеж*, трость и другие вещи, которых у меня не было, были возвращены, и я был свободен!

Вопреки моим ожиданиям, я испытал чувство восторга от обретения освобождения; но это сладостное удовлетворение было лишь кратковременным. Я подумал о мадам де Ноай, которую я оставил как бы в преддверии смерти. Я не мог думать ни о чем другом; по крайней мере, им не было бы больно видеть, как завтра я разделю их судьбу, и думать о том, что их дети остались без присмотра. "Религия придет им на помощь, - подумал я, - но через какую борьбу им придется пройти". Я возблагодарил Бога и умолял его прийти им на помощь в этот момент, столь полный ужаса для человеческих существ; и, продолжая молиться на ходу, я добрался до отеля "Муши". Было одиннадцать часов. Дети еще не легли спать; они ждали меня. Они задали мне множество вопросов и сказали, что были очень напуганы, когда я не вернулся. Я сказал им, что у меня было очень много дел, которые заставили меня крайне неохотно откладывать; что я был очень занят; что я не мог рассказать им тогда всего, что со мной произошло, потому что было слишком поздно, но что я расскажу им все об этом на следующий день. Затем мы вместе помолились и легли спать. "По крайней мере, - сказал я себе, - они проведут эту ночь в мире; следующая будет достаточно жестокой".

На следующий день (22 июля), когда дети еще спали, я очень рано отправился на улицу Св. Папаша, повидаться с папашей Брюном, сказать ему, что мадам де Ноай находятся в Консьержери на суде и, весьма вероятно, будут приговорены к смертной казни в тот же день, и умолять его сдержать обещание, которое он дал мне, а именно попытаться встретиться с ними, когда они будут переходить из тюрьмы в дальний конец Сент-Антуанского предместья, поскольку это было единственным утешением, которое они могли теперь иметь в этом мире. Он пообещал мне, что обязательно будет там. Всякий раз, когда он мог, этот добрый священник совершал этот акт милосердия по отношению к жертвам. Он сопровождал их, молясь на ходу, к подножию эшафота и там давал им последнее отпущение грехов. После того, как дело было сделано, он возвращался в свой дом, все еще молясь, но с болью в сердце.

Отец Бран был основателем Ораторского искусства. Мы жили вместе в Джуилли, где на нашем попечении были пенсионеры, которых называли *Минимами*, потому что они были самыми молодыми и миниатюрными. Некоторое время он был викарием прихода Джульи. Мадам виконтесса де Ноай, чьи дети, Алексис и Альфред, жили в нашем зале, переписывалась с ним почти год. Она питала к нему большое доверие, и он заслужил это своим благочестием и нежной заботой о ее детях.

Я вернулся в отель "Муши". Было почти шесть часов. Я разбудил детей и сказал им, что мы едем навестить их сестру Евфимию в Сен-Манде, что им очень понравилось. Они даже не

подозревали о той ужасной новости, которую я должен был им сообщить, пока мы не подошли к концу нашей прогулки.^[13]

13. Копия этого отчета была отправлена 21 мая 1850 года мадам маркизе де Верак месье Гереном, душеприказчиком месье Греле, и он заявил, что во всех отношениях согласен с оригиналом, написанным рукой месье Греле.

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА СОБЫТИЙ 22 июля 1794 ГОДА.

(М. Карришон, священник.)

Мадам Маршаль де Ноай, ее невестка, герцогиня д'Айен, и ее внучка, виконтесса де Ноай, содержались в своем отеле с сентября 1793 года по апрель 1794 года. Первого я знал в лицо, а с двумя другими был лучше знаком, которых привык навещать раз в неделю.

Террор с сопутствующими ему преступлениями усиливался, а жертв становилось все больше. Однажды, когда мы говорили об этом и призывали друг друга приготовиться быть в их числе, я сказал им с каким-то предчувствием: "Если вы пойдете на гильотину, и Бог даст мне силы, я пойду с вами". Они поймали меня на слове, добавив с готовностью: "Вы обещаете это?" Я на мгновение заколебался. "Да, - ответил я, - и чтобы вы были уверены, что узнаете меня, я надену темно-синий сюртук и красный жилет".

После этого они часто напоминали мне о моем обещании. В апреле месяце, кажется, через неделю после Пасхи, их проводили в Люксембург. Я часто получал известия о них через месье Греле, который с такой деликатной преданностью оказывал множество услуг им и их детям.

О моем обещании часто вспоминали. 26 или 27 числа, в четверг или пятницу, он пришел и умолял меня оказать маршалу де Муши и его жене услугу, которую я им обещал.

Я отправился во Дворец, и мне удалось проникнуть во внутренний двор; затем они были у меня перед глазами и совсем рядом со мной более четверти часа. Месье и мадам де Муши, которых я видел в их доме всего один раз и которых знал лучше, чем они знали меня, не могли узнать меня. По вдохновению и с Божьей помощью я сделал для них все, что мог. Поведение маршала было исключительно назидательным; он молился вслух с большим рвением. Накануне вечером, покидая Люксембургский дворец, он сказал тем, кто смотрел на него с интересом: "В семнадцать лет я пошел на штурм ради моего короля; в семьдесят восемь я иду на эшафот ради моего Бога; друзья мои, я не несчастлив".

Я избегаю подробностей, которые привели бы меня к бесконечным рассуждениям. В тот день я считал бесполезным что-либо предпринимать; и действительно, я не чувствовал в себе сил пойти с ними на гильотину. Я был очень обеспокоен этим из-за особого обещания, данного их родственникам, которых их смерть повергла в отчаяние. Они были заключены в одну тюрьму и много сделали, чтобы утешить маршала де Муши и его жену.

Как много я мог бы сказать обо всех многочисленных отъездах, которые предшествовали или последовали за отъездом 22 июля! — отъездах, мирных или несчастных, в зависимости от

настроений тех, кто уезжал. Они были ужасно печальны, даже когда известный характер и все внешние признаки указывали на христианское смирение и христианскую смерть, но чрезвычайно огорчительны, когда имело место обратное и когда казалось, что осужденный переходит из ада в этом мире в мир иной.

22 июля, то есть во вторник, я был у себя дома между восемью и десятью часами утра. Я как раз собирался уходить, когда услышал стук в свою дверь; я открыл ее и увидел детей из дома Ноай и их воспитателя. У детей была веселость, естественная для их возраста, — веселость, которая должна была смениться печалью из-за потерь, которые им предстояло пережить, и страхом испытать еще что-то. Они собирались идти пешком.

Учитель, печальный и меланхоличный, был бледен и встревожен. "Давайте пройдем в вашу комнату, - сказал он, - а детей оставим в вашем кабинете". Мы вошли в комнату; он бросился в кресло. - Все кончено, мой друг; дамы предстали перед Революционным трибуналом. Я пришел призвать вас сдержать свое слово. Я отвезу детей в Венсен и там увижу маленькую Юфими. В парке я подготовлю бедных детей к их ужасной потере.

Хотя я сам был готов к этому ужасному удару, я был ошеломлен. Ужасное положение матерей, детей, их достойного наставника, эта веселость, за которой последовала такая глубокая печаль, младшая сестра Эуфими, которой тогда было около четырех лет, — все это возникло перед моим воображением.

Я пришла в себя; и после некоторых расспросов, ответов и других печальных подробностей я сказала: "Сейчас я переоденусь. Что за поручение! Моли Бога, чтобы он дал мне силы осуществить это".

Мы встали и вышли в кабинет, где застали невинно забавляющихся детей, веселых и довольных, насколько это было возможно. Вид их, мысль об их невежестве, и о том, что им предстояло узнать, беседа с их сестрой, которая последует, и то, что мы только что пережили, делали контраст еще более разительным и ранили сердце.

Оставшись один после их ухода, я почувствовал себя разбитым и измученным. "Боже мой, - воскликнул я, - сжался над ними и надо мной!" Я переоделся и отправился по своим делам, неся в сердце сокрушительную тяжесть.

Я пришел во дворец между часом и двумя и попытался войти; это было невозможно. Я получил кое-какие новости от человека, который выходил из Дворца. Я все еще сомневался в реальности того, что он мне сказал. Иллюзия надежды была окончательно разрушена тем, что он продолжил, и у меня больше не могло быть никаких сомнений.

Я возобновил свою прогулку. Это привело меня в Сент-Антуанское предместье, и с какими мыслями, с каким внутренним волнением, с каким тайным страхом все это присоединилось к сильной головной боли!

Я проконсультировался с человеком, которому доверял. Она ободряла меня во имя Бога. Я выпил немного кофе у нее дома и почувствовал, что моей голове стало лучше. Я возвращался во дворец медленными шагами, задумчивый и нерешительный, боясь подойти к роковому месту и надеясь, что не найду тех, кто звал меня туда.

Я прибыл до пяти часов. Ничто не указывало на отъезд заключенных. Я печально поднялся по ступеням Сент-Шапель; я ходил по большому залу, я садился, я снова вставал, я ни с кем не разговаривал. Я скрывал в себе печаль, которая терзала меня. Время от времени я бросал печальный взгляд во двор, чтобы посмотреть, делаются ли какие-нибудь приготовления к процессии.

Моей постоянной мыслью было: "Через два часа, через один час их больше не будет". Я не могу выразить, как эта мысль, которая преследовала меня всю мою жизнь в слишком частых и печальных случаях, когда о ней вспоминали, беспокоила меня в то время. Из-за столь ужасной причины ожидания ни один час не казался мне одновременно таким долгим и таким коротким, как тот, который я провел с пяти часов до шести, из-за различных мыслей, которые волновали меня и которые быстро уводили мой разум от иллюзий тщетной надежды к страхам, к несчастью, слишком реальным.

Наконец, по шуму, донесшемуся до моих ушей, я понял, что двери тюрьмы вот-вот откроются. Я спустился вниз и занял позицию у ворот, так как вот уже две недели не было возможности попасть во двор.

Первая тележка была заполнена и подъехала к тому месту, где я стоял. В ней находились восемь дам, которые, казалось, были в очень поучительном расположении духа; они были мне незнакомы. Девятой и последней, с кем я был очень близок, была маршалка де Ноай. Отсутствие ее невестки и внучки дало мне последний слабый луч надежды. Но, увы! они тут же сели во вторую повозку. Мадам де Ноай была одета в белое, которое она не переставала носить с тех пор, как умерли ее свекор и теща, маршал де Муши и его жена. На вид ей было самое большее двадцать четыре года. Мадам д'Айен, дама лет сорока, была в сине-белом *декольте* в полоску. Я видел их, хотя и на небольшом расстоянии. Шестеро мужчин также сели в роковую машину и заняли свои места рядом с ними. Я заметил, что первые двое встали на некотором расстоянии от остальных, показывая им этим почтительным вниманием, что они хотят оставить их более свободными. Из этого я извлек хорошие предзнаменования.

Едва они заняли свои места, как дочь проявила к матери живой и нежный интерес, который был замечен всеми присутствующими. Я услышал, как они говорили рядом со мной: "Вы видите, как взволнована эта молодая леди и как она разговаривает с другой?"

Я увидела, что они ищут меня. Мне показалось, что я слышу все, что они говорят. - Мама, его там нет.

- Посмотри еще раз.

- От меня ничто не ускользнет, уверяю тебя, мама, его там нет.

Они забыли, что я предупредил их о невозможности попасть во двор.

Первая повозка простояла рядом со мной по меньшей мере четверть часа. Она выехала первой. Вот-вот должна была проехать вторая, и я был наготове. Оно прошло, и дамы меня не заметили. Я вернулся во дворец, сделал длинный круг и занял видное место у входа на мост Менял. Мадам де Ноай огляделась по сторонам, но прошла мимо, не заметив меня. Я последовал за ними по мосту, отделенный от толпы, но все же совсем рядом с ними. Мадам де Ноай, хотя и постоянно искала меня, не заметила.

На лице мадам д'Айен отразилось отчаяние; ее дочь удвоила бдительность, но безуспешно. У меня возникло искушение сдаться. Я сделал все, что мог, сказал я себе, и в любом другом месте толпа была бы еще больше. Это было бесполезно, и я устал. Я уже собирался уходить, когда небо заволокло тучами, вдалеке послышался гром, и я решил предпринять еще одно испытание.

Окольными путями я прибыл раньше повозок на улицу Сент-Антуан за улицей де Фурси, почти напротив слишком знаменитой тюрьмы Ла Форс. Затем поднялся сильный ветер. Разразилась гроза; вспышки молнии и раскаты грома быстро сменяли друг друга. Начался дождь, который вскоре перешел в ливень. Я отошел к дверям магазина, который я до сих пор живо помню и на который с тех пор никогда не смотрю без волнения. В одно мгновение улица была очищена; людей больше не было, разве что у дверей, в магазинах и у витрин. В шестви было больше порядка. Всадники и мушкетеры продвигались быстрее, повозки тоже. Они достигли малой Сент-Антуанской, а я все еще пребывал в нерешительности. Первая повозка проехала передо мной. Быстрое и почти произвольное движение отбросило меня от дверей лавки ко второй тележке; и там я оказался один, совсем рядом с дамами. Мадам де Ноай, улыбаясь, казалось, говорила мне: "Наконец-то ты здесь; ах, как мы утешены! Мы с нетерпением искали тебя. Мама, вот и он. - Мадам д'Айен оживилась. Все мои колебания рассеялись; я почувствовала, что милость Божья вдохновляет меня на необычайное мужество. Хотя я был насквозь мокрый от пота и дождя, я не обращал на это внимания, а продолжал идти рядом с ними. На ступенях колледжа Сент-Луиса я увидел друга, полного уважения и привязанности к ним, пытающегося оказать им ту же услугу, что и я.^[14] Его лицо и поза показали все, что он почувствовал, увидев их. С невыразимым волнением я хлопнул его по плечу и, проходя мимо, крикнул ему: "Добрый вечер, мой друг".

В этом месте есть открытое место, и на него выходят несколько улиц. Шторм был в самом разгаре, и ветер усилился. Дамы в первом вагоне были очень встревожены этим, особенно маршалка де Ноай; ее большая шляпа была откинута назад, и видны были ее седые волосы. Они покачивались на своих грубых дощатых сиденьях, их руки были связаны за спиной. Тотчас же толпа мужчин, которые были там, несмотря на дождь, узнали ее, обратили внимание только на нее и своими оскорбительными криками усилили пытки, которые она терпеливо переносила. "Вот она, — кричали они, - маршалка, которая ехала с таким шиком в своей прекрасной карете, - вот она в повозке, как и другие!"

Крики продолжались; небеса становились все темнее, а дождь все яростнее. Мы добрались до перекрестка улиц прямо перед предместьем Сент-Антуан. Я прошел вперед, огляделся и сказал себе, что это лучшее место, чтобы позволить им то, чего они так сильно желают. Повозка ехала медленнее; я остановился и повернулся к ним. Я сделала мадам де Ноай знак, который она прекрасно поняла: "Мама, месье Карришон собирается отпустить нам грехи". Они немедленно склонили головы с видом раскаяния, нежности, надежды и благочестия.

Я поднял руку и, хотя голова у меня была покрыта, произнес всю формулу отпущения грехов и следующие за ней слова очень отчетливо и с глубочайшей серьезностью. Они объединились в этом более совершенным образом, чем когда-либо. Я никогда не смогу забыть священную картину, достойную карандаша Рафаэля, того момента, когда для них все было бальзамом и утешением.

Сразу же шторм утих, и дождь прекратился. Казалось, что они пришли только для того, чтобы обеспечить успех того, чего мы с друзьями так страстно желали. Я благословил Бога за это, и они сделали то же самое. Их внешний вид свидетельствовал о довольстве, безопасности и жизнерадостности.

Когда мы въехали в Предместье, нетерпеливые толпы расступились по обеим сторонам улицы. Они оскорбляли первых леди, особенно маршала; двум другим ничего не было сказано. Иногда я шел впереди, а иногда сопровождал фургоны. Проходя мимо аббатства Сент-Антуан, я встретил молодого человека, которого знал раньше; это был священник, которого у меня были некоторые основания подозревать, и его присутствие раздражало меня. Я боялся, что меня узнают, но, к счастью, этого не произошло; он отвернулся, и больше я его не видел.

Наконец, мы достигли роковой точки; то, что происходило внутри меня, невозможно описать. Что за момент! Какая разлука, какое горе для мужей, детей, сестер, родственников и друзей, которые должны пережить их в этой юдоли слез! "Я вижу их, - подумал я, - все еще полными здоровья; они были бы так полезны своим семьям, и через минуту я их больше не увижу. Как это душераздирающе! Но какое большое утешение для нас видеть их такими смиренными!"

Появляется эшафот; телеги останавливаются; стражники окружают их; я вздрагиваю. Теперь вокруг нас собрался более многочисленный круг зрителей; большинство из них смеются и забавляются этим душераздирающим зрелищем. Представьте, в какой ужасной ситуации я оказался среди такой толпы, когда мой разум был взбудоражен такими разными мыслями.

Пока палач и двое его слуг помогали спуститься дамам, сидевшим в первой повозке, глаза мадам де Ноай блуждали по сторонам в поисках меня. Наконец-то она увидела меня. И теперь повторилось то первое восхитительное зрелище, которое я увидел на ней. Ее выразительные глаза, такие милые, такие живые, такие небесные, взглянули сначала на небо, затем вниз, на землю, и, наконец, были устремлены так пристально на меня, что это могло бы привлечь мое внимание, если бы мои соседи были более внимательны. Я надвинул шляпу на глаза, но не для того, чтобы не видеть ее. Мне показалось, я услышал, как она сказала: "Наша жертва принесена. Мы покидаем наших дорогих, но Бог в своей милости призывает нас. Наша вера тверда. Мы не забудем их, когда будем в Его присутствии. Мы благодарим вас и шлем им наши самые нежные прощальные слова. Иисус Христос, который умер за нас, - наша сила. Мы умираем в его объятиях. Прощайте! Дай бог, чтобы мы все снова встретились на небесах. Прощайте!"

Невозможно дать никакого представления о ее святых, искренних жестах; в ней было такое трогательное красноречие, что окружающие меня говорили: "Ах, посмотрите на эту молодую женщину! Какая она смиренная! Посмотрите, как она поднимает глаза к небу! Посмотрите, как она молится! Но какая ей от этого польза?" Затем, поразмыслив: "О, эти злые священники!" Попрощавшись в последний раз, они все вышли из фургона.

Я больше ничего не осознавал, мое сердце было разбито, опечалено и в то же время утешено. Как я благодарил Бога за то, что не отложил отпущение грехов до этого момента! Если бы я подождал, пока они не взойдут на эшафот, мы не смогли бы так объединиться в присутствии Бога, чтобы попросить и получить это великое благословение, как это было в другом месте; и это также был самый спокойный момент на всем пути.

Я покидаю место, где стоял. Я перехожу на противоположную сторону, пока остальные выходят из фургона. Я оказался перед деревянной лестницей, по которой они должны были подняться на эшафот, и к которой прислонился высокий, довольно толстый старик с седыми волосами и добрым лицом. Он был похож на фермера. Рядом с ним стояла незнакомая мне женщина с очень покорным видом; следующей шла маршалка де Ноай, прямо напротив меня, одетая в черную тафту. Она еще не сняла траур по маршалу. Она сидела на куске дерева или камня, который случайно оказался там, и смотрела неподвижными большими глазами. Я не забыл помолиться за нее, как делал это за многих других, и особенно за маршала и Марешаль де Муши. Все остальные выстроились в две шеренги на стороне, обращенной к Сент-Антуанскому предместью.

Я огляделся в поисках дам; я увидел только мать. Ее поза была позой преданности — простой, благородной и покорной. Полностью поглощенная жертвой, которую она собиралась принести Богу благодаря заслугам Спасителя, его божественного сына, ее глаза были закрыты; она не выказывала никакого беспокойства, даже такого сильного, как тогда, когда ранее имела честь приблизиться к священному столу. Я никогда не забуду, какое впечатление она произвела на меня тогда. Я часто представляю ее себе в такой позе. Дай Бог, чтобы это пошло мне на пользу.

Маршалка де Ноай была третьей, кто взошел на жертвенный алтарь. Пришлось отрезать верхнюю часть выреза ее платья, чтобы обнажить горло. Я чувствовал, что не смогу стоять и смотреть на все это; и все же я хотел испить чашу до дна и сдержать свое слово, если только Бог даст мне силы сохранить рассудок перед лицом такого ужасного зрелища.

После нее прошли шесть дам. Мадам д'Айен была десятой. Мне показалось, что она выглядела довольной тем, что умрет раньше своей дочери, а дочь была рада умереть после своей матери. Когда она взошла на эшафот, главный палач снял с нее шляпку. Поскольку оно было закреплено булавкой, которую он не стал вынимать, боль, вызванная тем, что ею выдергивали волосы, была очевидна на ее лице.

Жизнь матери оборвалась. Как я горевал, видя, что эту молодую леди, выглядевшую в своем белом платье еще моложе, чем она была на самом деле, милую и кроткую, как маленький ягненок, ведут на заклание. Мне казалось, что я присутствую при мученической смерти одной из тех святых юных дев, которые изображены на картинах великих мастеров.

То же самое, что произошло с ее матерью, произошло и с ней — та же оплошность с булавкой, та же боль, то же спокойствие, та же смерть! Какая красная кровь текла у нее из головы и горла!

"Теперь она счастлива!" - воскликнул я про себя, увидев, как ее тело бросают в ужасный гроб.

Пусть всемогущий и всемилостивый Бог дарует их семье все благословения, которые они могут пожелать, и которые я прошу о своих собственных, и сведет нас всех вместе с теми, кто ушел раньше, в ту обитель, где больше нет Революции, в ту страну, в которой, как говорит святой Августин,...

"Истина для своего Короля",

Милосердие как Закон,

И Вечность на ее Протяжении".

14. Этим другом, с которым встретился отец Карришон, был отец Брюн, священник Оратории, вместе с которым я руководил в Жюйи Залом *Minimes* (самых юных учеников Колледжа), среди которых были месье Алексис и Альфред де Ноай. Я сообщил месье Брюну в тот же день, что и месье Карришон (22 июля 1794 года), о наших тревогах и наших желаниях относительно мадам де Ноай. Эти два друга встретились на улице Сент-Антуанское Предместье, сопроводили жертв, дали им свое благословение и не уходили до тех пор, пока не было совершено последнее жертвоприношение. *Записка месье Греле.*

LETTER FROM MADAME LA DUCHESSE DE DURAS, Née NOAILLES, TO MONSIEUR GRELET.

Наберитесь мужества, и Он укрепит ваше сердце,

все вы, надеющиеся на Господа.—Пс. xxxi. 24.

Как сильно вам нужно применить эти священные слова к самому себе в той трудной ситуации, в которую вас поставило Провидение! Мы уже проверили ваше мужество самым замечательным образом; оно не подведет вас, потому что оно покоится на законе Божьем, и только на него вы возлагаете свое упование. Что почувствовали бы отец и мать этих несчастных детей, если бы вы бросили их? Но что я хочу сказать? Они заслуживают продолжения ваших нежных забот благодаря своей кротости и совершенному послушанию. Мне нравится верить, что они унаследуют некоторые из добродетелей ангела, которого мы оплакиваем. Эта прекрасная мать открыла вам свое чистое сердце; вы должны привить ее детям все, что она ценила, все, что она чувствовала. Она считала вас их братом и обращалась с вами соответственно. Я сейчас говорю с вами как сестра, а также как та, кто разделил ее уверенность, ибо я не уверена, что у меня будет возможность высказать вам своими устами все, что я думаю. Если Небеса сохранят мне жизнь, это будет драгоценный момент для меня (кто мог бы представить еще один такой?), когда я снова окажусь с вами и с ними, буду говорить о наших дорогих потерянных и поощрять друг друга извлекать пользу из их замечательных примеров. Мы скажем им: "Будьте христианами, и вы будете верны каждому долгу; изучайте гуманитарные науки, потому что они помогут вам быть полезными человечеству; но прежде всего и превыше всего остального будьте добрыми".

Я думаю, необходимо, чтобы они прекрасно знали, как вычислять и т.д.

Я отказался от всего; я перестал думать о чем-либо земном и сосредоточил свой разум на небесах. Я должен закончить. Возможно, я разговариваю с вами в последний раз. Я не знаю, что уготовило мне Провидение, но, что бы это ни было, я никогда не перестану помнить о своем долге перед вами, который может сравниться только с моим доверием к вам.

ВЫДЕРЖКА ИЗ "МЕМОРИАЛА ЕВРОПЫ", 24 апреля 1809г.

Недалеко от старой деревни Пикпюс, ныне входящей в состав предместья Сент-Антуан, под стенами сада, принадлежавшего канониссе церкви Св. Августина, на клочке земли длиной не более тридцати футов покоятся тысяча триста пятнадцать жертв, обезглавленных у Тронной стены между 26-м Прериалом и 9-м Термидором во второй год Республики.

Вдовы, сироты и матери, оставшиеся без утешения и поддержки, втайне глотали свои слезы и даже не осмеливались просить для своих умерших права погребения. В такие времена слезы перестали быть невинными, а могила - убежищем. Эти несчастные существа довольствовались тем, что вверяли останки своих близких Тому, чей взор всегда прикован к живым и мертвым; но они не знали, чья рука похоронила их, и даже не знали, на каком клочке земли они были похоронены.

Но Сестра, столь же храбрая, сколь и нежная, мадам Амели-Зефирина де Сальм-Кирбург, принцесса Гогенцоллерн, сестра Фредерика, принца Сальмского, обрела в своем великом горе силу, которую другие, казалось, утратили. Могу сказать, что она наблюдала за последними мгновениями жизни своего брата, видела удар, оборвавший его дни, повозку, увезшую его останки, землю, которая приняла их. Она купила участок земли, которого едва хватило, чтобы покрыть жертв, которые только что были там похоронены; она обнесла его стеной и защитила от осквернения, надеясь, что благочестивая скорбь когда-нибудь освятит эти новые катакомбы. Эта молитва братского благочестия была услышана; она была исполнена двумя сестрами, мадам де Лафайет и де Монтегю, достойными подражательницами такого примера, ибо они сами были достойны подать его. Обе они принадлежали к одной из тех патрицианских семей, которые оставались в здравом уме в эпоху, лишенную добродетели, подобно обелиску посреди пустыни; обе были дочерьми, внучками, сестрами и состояли в родстве с несколькими жертвами, обезглавленными у Тронной ограды, и почти были связаны с ними. Одна из них, чьи дни были меньше, чем ее добрые дела, умерла в прошлом году, оставив в мире, в котором она жила только для того, чтобы быть женой и матерью, трудную для заполнения пустоту; другая, с разбитым сердцем, изможденным телом и полностью потерянным состоянием, все еще находит утешение для скорбящих, утешение для страждущих и помощь для бедных. Эти две благородные и благочестивые женщины начали с того, что купили участок земли, принадлежавший монахиням, и на развалинах келий по их приказу построили скромную молельню. Невинность бывших жильцов должна помочь сделать возносимые там молитвы действенными. Величественный символ нашего искупления теперь помещен над этой погребальной оградой; великие викарии Парижа прислали туда священника; там назначена ежегодная служба; и кровь Божественной Жертвы была принесена на этот алтарь за упокой душ всех этих выдающихся усопших.

Этого, несомненно, было достаточно для достоинства и утешения всех этих христианских духов, но не для того, чтобы удовлетворить нежную жалость их семей и друзей. Часовня и кладбище были отделены друг от друга садом монахинь. Было решено объединить их, купив этот ценный участок земли, который содержит более четырех *харпентов*. Была запущена подписка. Циркуляр был составлен человеком, известным талантом и честностью,^[15] который в течение тридцати лет объявлял себя защитником всех тех, чьи несчастья были самыми благородными и трогательными. Великодушное чувство откликнулось на призыв красноречивой чувствительности, и вскоре были получены подписки на сумму в сорок тысяч франков. Рядом с

самыми гордыми и почитаемыми именами Франции невозможно без волнения смотреть на неизвестные имена и небольшие пожертвования нескольких верных слуг, которые принесли свои скромные подношения, чтобы возложить их к ногам своих старых хозяев и к основанию нового алтаря. Наконец был выкуплен весь участок земли, и в течение двух с половиной лет одна и та же ограда окружала жертв и ораторию мертвых. Прах отцов стал собственностью детей; дети передадут его своим потомкам. Этот памятник останется печальным возмещением за прошлое и впечатляющим уроком на будущее.

Здесь каждый день приносится святая жертва за всех жертв революции; здесь ежегодно совершаются две торжественные службы по тем, кто похоронен на этом месте, — одна в Малое воскресенье недели, а другая в день, соответствующий 9 Термидору; здесь в прошлый понедельник, 11 числа этого месяца, собралось собрание, чтобы отпраздновать годовщину. После службы в часовне, которая была примечательна только количеством и волнением присутствующих, служители, согласно обычаю, отправились процессией на Поле мучеников.

Посередине есть небольшая возвышенность, затененная кипарисами и тополями, чьи высокие колышущиеся ветви напоминают нам о тщете наших земных надежд и указывают на то, где их следует закрепить; в то время как крест, венчающий пирамиду, основание которой покоится на всех этих исчезнувших источниках счастья, кажется, призывает всех потомков жертв в свои распростертые объятия. Началась заупокойная панихида, и верующие, стоя на коленях, попеременно повторяли печальные строфы псалма "Скорбь и надежда".

15. Месье Лалли-Толлендаль.

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА:

1. Необычные или непоследовательные варианты написания в английском языке были сохранены.

Потом

Полнота

Веселье

Извозчик.

1а. Во всех французских именах, титулах, географических названиях правильное написание и ударение на французских словах были сохранены.

2. Сноски были последовательно пронумерованы по всему объему.